3 · ЭХО · ECHO

1978 · PARIS · ПАРИЖ

ЭХО

литературный журнал

3

ПАРИЖ
1978

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Оформление А.Хвостенко

Произведения, распространяемые самиздатом, печатаются без ведома их авторов.

Directeur rèsponsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris

Владимир Высоцкий (справа) и Михаил Шемякин в мастерской Шемякина. Париж. 1978

Владимир ВЫСОЦКИЙ

ДВЕ НОВЫЕ ПЕСНИ

песня о французских бесах

Эта песня посвящена одному странному такому загулу, который произошел не так давно и, надеюсь, больше не повторится. Посвящена другу моему Михаилу Шемякину.

Открытые двери больниц, жандармерий...
Предельно натянута нить.
Французские бесы большие балбесы,
Но тоже умеют кружить.

Я где-то точно наследил,
Последствия предвижу.
Меня сегодня бес водил
По городу Парижу.

Канючил: выпей-ка бокал,
Послушай-ка гитары,
Таскал по русским кабакам,
Где венгры да болгары.

Я рвался на природу в лес,
Хотел в траву и в воду,
Но это был французский бес,
Он не любил природу.

Мы как сбежали из тюрьмы,
Веди куда угодно.
Пьянели и трезвели мы
Всегда поочередно.

И бес водил, и пели мы
И плакали свободно.

А друг мой, гений всех времен,
Безумец и повеса,
Когда бывал в сознаньи он,
Седлал хромого беса.

Трезвея, он вставал под душ,
Изничтожая вялость.
И бесу наших русских душ
Сгубить не удавалось.

А то, что друг мой сотворил, -
От Бога, не от беса.
Он крупного помола был,
Крутого был замеса.

Его снутри не провернешь
Ни острым, ни тяжелым,
Хотя он огорожен сплошь
Враждебным частоколом.
Хотя он огорожен сплошь
Враждебным частоколом...

Пить наши пьяные умы
Считали делом кровным.
Чего наговорили мы
И правым, и виновным!..

Нить порвалась и понеслась,
Спасайте наши шкуры!
Больницы плакали о нас,
А также префектуры.

Мы лезли к бесу в кабалу
С гранатами под танки.
Блестели слезы на полу,
А в них тускнели франки.

Цыгане пели нам про шаль
И скрипками качали,
Вливали в нас тоску-печаль.
По горло в нас печали.
Вливали в нас тоску-печаль,
По горло в нас печали...

Уж влага из ушей лилась.
Всё чушь глупее чуши.
Но скрипки снова эту мразь
Заталкивали в души.

Армян в браслетах и серьгах
Икрой кормили где-то.
А друг мой в черных сапогах
Стрелял из пистолета.

Набрякли жилы, и в крови
Образовались сгустки.
А бес, сидевший визави,
Хихикал по-французски:

"Всё в этой жизни суета,
Плевать на префектуры".
Мой друг подписывал счета
И раздавал купюры.
Мой друг подписывал счета
И раздавал купюры.

Распахнуты двери больниц, жандармерий.
Предельно натянута нить.
Французские бесы такие балбесы,
Но тоже умеют кружить.

КУПОЛА

Михаилу Шемякину -
эта песня о России

Как засмотрится мне нынче, как задышится?
Воздух крут перед грозой, крут да вязок.
Что споется мне сегодня, что услышится?
Птицы вещие поют, да все из сказок.

Птица Силин мне радостно скалится,
Веселит, зазывает из гнезд.
А напротив тоскует, печалится,
Травит душу чудной Алконост.

Словно семь заветных струн
Зазвенели в свой черед -
Это птица Гамаюн
Надежду подает.

В синем небе, колокольнями проколотом,
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною,
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою
Голубою, родниковою, ржаною.

Грязью чавкая жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна.

Словно семь богатых лун
На пути моем встает -
То мне птица Гамаюн
Надежду подает.

Душу,сбитую утратами да тратами
Душу, стертую перекатами,
Если до крови лоскут истончал,
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал.

Александр РОЗЕН

БАЛЛАДЫ

баллада о дуньке

Дунька была приходящая домработница.

В лагере она не работала, потому что одну ногу ей отрезало поездом. Когда спрашивали, за что сидит, Дунька отвечала:

- За справедливость.

А когда приставали, молча отстегивала свою деревянную ногу и ей замахивалась. Потом она лезла наверх, на нары. Ногу ей подавала туда соседка. Дунька спала всегда в обнимку с ногой.

Когда срок кончился, Дунька не стала брать билет в поезд.Начальнице в бухгалтерии твердо сказала:

- Никуды не поеду. Хучь второй срок мотайте.

Начальница удивилась:

- У тебя же дети есть.

- Срать я на их хотела. Они же, падлы, меня под статью и подвели.

Дунька стала жить возле лагеря, завела грядку и летом принесла в дом начальнику желтые пахнущие цветы.

- Это вам за справедливость, - сказала Дунька. - Одни коммунисты справедливые. А все падлы и сволочи.

Цветы она носила все лето, а после спросила у Марьи Григорьевны, жены начальника, ведро с тряпкой и, подвязав ногу, плюхнулась на пол - мыть его.

За работу Марья Григорьевна кормила ее на кухне,а денег совсем не давала из-за того, что Дунька пила.

баллада о молодом месяце

Дед Еремеев, подперев рот рукой, глядел, как за тучей гуляет белый молодой месяц.

Подошел Сашка-тракторист. Сашка был выпивши.Он подсел к деду, сказал тревожно:

- Слышь, дед, американцы на луну забрались.

- Врут, - сказал дед, подумав.

Сашка затряс газетой.

- Видал? Пшик нам.

- Врут, - сказал дед еще раз, следя за месяцем.

Сашка обиделся. Он пошел вдоль забора. Потом он отодрал кол и стал бить по ограде.

В окно высунулся черный агроном Осипенко.

- Чего шумишь? - спросил он.

- Американцы, - пытался объяснить Сашка.

У агронома было еще полбанки. Жена агронома покрошила луку и огурцов. Сашка стал плакать. Он говорил, что жизни теперь не будет. Тогда агроном ударил его. Ударил не сильно, но Сашка,когда отлетал, сам треснулся об угол кровати. Он лежал на полу, и во рту торчал огурец.

На суд агроном представил сухой кол, которым Сашка бил по ограде, и газету "Известия". На газету Сашка выплевывал огурцы. Агроном говорил, что Сашка вел агитацию. Ему дали семь лет, пожалев детей-малолеток.

баллада о сладких пряниках

Зойка получила освобождение. Она шла по поселку, вертя головой, и смотрела, в каких домах живут лагерные начальники. Потом она зашла в магазин. В магазине впереди Зойки стояла начальница другого отряда. Она знала Зойку.

- Здравствуй, - сказала начальница. - Поздравляю тебя.

Зойка взяла себе колбасы и пряников. Потом выложила еще две монеты и купила сигарет с фильтрами.Потом она быстро сняла чулки. Зойка не любила чулки. На ногах у нее чулки морщились и свисали. За чулки Зойке в лагере все время грозились карцером. Теперь она шла в одних туфлях, щеголяя ногами.

Она нашла скверик, в котором была скамейка. Против скамейки стоял небольшой белый Ленин. Зойка ела колбасу с пряниками и смотрела на Ленина. Ленин стоял спиной к лагерю и показывал рукой на станцию, откуда уходил поезд. Зойка поняла это так, что надо поскорей сматывать.

Потом Зойка просто сидела, выставив ноги, курила и смотрела на Ленина. Зэчки в бараке раз спорили, кто виноват, что Ленин бездетный. Одни кричали - Надька, жена, другие, что у самого не маячило, весь ушел в голову. Зойка не поняла, кто прав.

- Спустить бы с тебя штаны, - подумала Зойка про памятник, - поглядеть, что у тебя там за машинка.

Ленин глядел на Зойку и улыбался. В руке он держал мятый зэчий картуз.

Зойка втоптала каблуком сигарету, зевнула и стала устраиваться на своем узле. Поезд со станции уходил только вечером.

баллада об инструкторе

Кроме лагеря, в поселке был еще леспромхоз. Начальник леспромхоза был Цацко. Лес у Цацки рубили зэки, а кроме них, еще вольные. Цацко один давал план района.

Один раз к Цацке приехал новый инструктор. Его впустили на совещание. Инструктор записывал в книжечку, а потом начал говорить. Он стал учить Цацку, как давать план. Цацко сначала смеялся, потом обиделся.

Инструктор сказал:

- Почему вы не собрали собрание?

Цацко ответил:

- Потому что работать надо, а не языком трепать.

Инструктор начал грозиться:

- Парторганизация вас поправит.

А Цацко сказал:

- Я Цацко. Что скажу я, то скажет моя парторганизация.

Потом он ушел, а инструктор учил цацкиных мастеров. На туфле у него была дырка.

После обеда Цацко звонил в район, спрашивал, где они выкопали такого инструктора. Инструктора научили, как надо говорить с Цацкой. А в леспромхоз стала ездить женщина Людмила Ивановна. Она выступала на собраниях. Цацко выписал Людмиле Ивановне валенки и белый, как у мастеров, полушубок.

баллада об участковом

Дед Евсюков, свесив ноги, сидел на печи и читал старухе газету.

Зашел участковый.

- Надевай штаны, дед, - сказал он, хлопая варежками, - со мной пойдешь.

- Это куды? - спросил дед.

- Известно куды.

- А-а, - сказал дед и спрыгнул.

- В канистру? - догадалась старуха. - А не померзнет он там?

Канистрой в поселке звали холодный чуланчик у участкового.

- Одевай потепляе. Чего ты, дед, Марье Григорьевне-то поделал?

- Сгрубил, - сказал дед неохотно. - Не забыла, вить, стерва.

Старуха подала ватные штаны. Дед заскакал, натягивая.

- На сколь его?

- Поглядим, - сказал участковый.

Дед надел шапку, очки, а на спину намотал старухин мягкий платок.Старуха стала его застегивать.

- И газету подай, - сказал дед. - Газету бы не забыть.

- С Богом тя, Митрофаныч.

- И тя с Богом.

Старуха стояла, покуда не хлопнула дверь в сенях, потом,бормоча, затерла лужицу у порога и отошла.

- Что б ему, старому, на обед-то снесть? - сказала она себе и, подняв дверку, полезла в погреб.

баллада о партийном татарине

Татарин Файзуллин обиделся. Он взял ложку, миску и пошел к лесу.Там он ел стоя, спиной к бригаде. Хлеб он положил на пенек. Видно было,как ходят у него уши.

- Обиделся, - сказал Ленинградец. - Муса, эй! Ложку сжуешь.
- Как слон, уминает.
- Тебе б вот так не налить, - сказал бригадир. - Что он - не человек?
- Нельзя ему. Он партийный.
- Нам больше достанется, - сказал, беря стопочку,Колька Заяц. - В - в, хорошо прошла.
- Ему что теперь - наряд отдельный станут выписывать?
- Не, квартиру хлопочет. Жена у него. Татары, гад, хитрые.
- Оставь ему, - сказал бригадир.
- Оставлю, что, жалко, думаешь?
- Не примут его еще.
- Примут. Куды денутся.
- За квартиру я б сам вступил.
- Дети, вишь, у него.
- Как он ушами! Мне так ни в жисть.
- Бывает. Я такого видал.
- Много оставили, - сказал Заяц. - Тут на полторы будет.
- Кончили, - сказал бригадир. - Эй, Файзуллин! Пилить иди!
- Он коммунист, - сказал Ленинградец. - Пускай за нас норму делает.

баллада о проповеднике

Начальник второго отряда сдружился с учителем Емельяновым. Он ходил к нему с водкой и, вытянув шею, из кресла следил, как учитель крошит на газете несвежую колбасу.

- Упекут тебя, Емельяныч, - говорил он учителю. - Будешь у меня лес рубить.

Учитель глядел пронзительными глазами.

- Ты русский?
- Ну, русский.
- Так что же ты, русский человек...
- Погоди, - спорил начальник.

Заглядывала тетя Фрося, техничка.

- Садись, - говорил начальник. - Шумим мы?
- Не вы, вы тихий. Всё он орет. А у вас, я погляжу, водочка.

Тетя Фрося брала стакан и, сев на окно, глядела, как бегает вдоль стенки учитель.

- Башка, - говорила она начальнику. - Как он этих всех черножопиков!
- Вот я и говорю - мы их учим, заводы строим...

- Думаешь, сверху-то глупей нас?

- Не знаю, - скисал учитель. Он морщился, ставил стакан и, бегая, говорил, что русским людям надо соединяться,чтоб себя отстоять, а главное - больше детей народить, как китайцы, а инородным не позволять больше двух.

Насчет детей тетя Фрося не соглашалась.

- И пускай родют, - кричала она, стуча в стенку, чтобы перекричать учителя. - Все нам достанутся!

Выпив, учитель ник и несвязно бормотал про измену.Водку начальник допивал с тетей Фросей.

- Посадют, - жалела она,сцеживая остаток.- За правду посадют.

Потом они вместе тащили учителя на диван. Он спал, свесив ноги в ботинках,и тревожно мычал во сне.

баллада о соньке

Сонька ходила возле столовой, заманивая приезжих.В столовую ее не пускали. Сонька ловила молдаван, приезжавших за лесом, и шла вслед, твердя:

- Вино только мне поставь. Дешевше, чем в гостинице,будет.

Когда молдаване гнали ее, Сонька кричала:

- На усе-то сопли! Стыд, дядечка!

Чтоб не толкаться на морозе одной, Сонька хотела сговорить старуху Егоровну. Егоровна сказала сурово:

- Я чужим не даю.

К ней ходили цацкины шофера, и Сонька, проходя мимо, заглядывала в окошко. Один раз Сонька увидела у старухи приезжего. Старуха доставала из сундука куньи шкурки,а молдаван смотрел их на свет и складывал на столе. Сонька пришла к старухе, отпила чай, сказала:

- Теперя я над тобой поцарствую. Я на тя заявить могу.

- Заяви, - сказала Егоровна.

Вечером Соньку забрал участковый и увез в район. На суде Соньке дали два года. Цацкины шофера показали, что она водится с молдаванами.

Из лагеря Сонька сразу пошла домой и стала вытапливать печь. Ее заставляли работать, а потом бросили.

Один раз Сонька получила письмо. Она удивилась, но не разорвала конверт, оттого что не умела читать. На другой день почтальон отобрал письмо. Он сказал, что письмо не ей,а бухгалтерше, которая живет через огород.

баллада о возвращении

Ваньчику все обрадовались.

- Факир пришел! - заорал Фараон и стал бить по наре.

Ваньчик растрогался, но виду не подал, а скромненько сложил узел и повесил на стене телогрейку. Потом он пошел здороваться.

- Как сел? - спросили его.

Сел Ваньчик по-глупому. На воле жил у сестры, которая замужем за техником домоуправления. Ваньчик случайно дал в морду технику. Прописки у него не было. Ваньчик попал в Мордовию.

- Хреново там? - спросил Фараон.

- А где не хреново? - ответил Ваньчик.

В Мордовии жил два месяца, покуда разобрались.Лагерь как лагерь.

Публика Ваньчику не понравилась.

- Мелкие анекдотчики, - сказал он.

Потом Ваньчику сказали, что нового. Ваську-китайца выпустили. Начальник отряда, сука, удавился из-за жены.

- А эти что? - спросил Ваньчик, кивая на фраеров.Новые фраера гуляли в своем углу.

- А, - сказал Фараон.

Ваньчик не глядел больше.

Потом он снял ботинки и отдыхал. В бараке было тепло,по потолку, как раньше, ползала муха.

баллада о приезжем художнике

Художник Семенов приехал в поселок рисовать Ленина.Он думал все сделать до праздника. Но Ленин не понравился Цацке.

- Зачем рот открыт? - спросил Цацко строго. - Ты, что, певца рисовал?

Художник начал замазывать.Ленин вышел губастый.

- Еще хуже, - огорчался цацкин парторг. - Хоть сначала всё начинай.

- Сначала в ажуре было, - обижался художник. - Для всех подходило, а для вас вот не подошло.

- Губы у него только, - вздыхал парторг, сев на корточки. - Губы как-то бы.

- Сам знаю, что губы, - нацеливался художник. - А как вот?

- Ты думай. За то тебе деньги платят.

- Нет, - говорил художник. - Зря я с вами связался. Такого Ленина загубил.

Они пошли снова к Цацке.

- А, - сказал Цацко. - Готово? Ты, я вижу, раз-два?

Художник посмотрел на парторга.

- Нормальный был Ленин, - сказал он. - Чего он вам не понравился?

- Может, и в самом деле? - сказал парторг. - Время жмёт.

- Нет, - сказал Цацко. - Раз я велел закрыть рот, ты закрой и помалкивай.

Ночью художник учил парторга разводить краски. Магазин был закрыт, но парторг достучался до продавщицы. Из дома он принес колбасу.

- Видишь, - говорил он, ползая по холсту. - Идет помаленьку.

- А, - отмахивался художник. - Знал бы - не связывался.

Их разбудила уборщица. Они взяли Ленина и пошли наверх к Цацке. Ленин Цацке понравился. Цацко обошел Ленина с двух сторон, сказал:

- Молодец. Теперь он нас воодушевит.

Деньги художник пошел получать вместе с парторгом. Они пили в столовой, потом в гостинице. Художник хотел рисовать картину с официантки и рассказывал молдаванам про свою жизнь. Ночью парторг посадил его в поезд и долго махал рукой.

Александр Розен - молодой писатель с Урала. Сейчас живет в Иерусалиме.

Виктор ТУПИЦЫН

СТИХОТВОРЕНИЯ

тень реки

Тень реки напоминает подлинник,
где вода и всякое ребячество,
где на сотню верст один утопленник,
да и то - сомнительного качества.

Лев Толстой сюда являлся с птицами,
здесь вкушал он плод воображения,
и в блокнот с невнятными страницами
записал одно соображение:

если где-то в мире есть животное,
даже пусть весьма парнокопытное,
но, должно быть, не настолько сытное,
чтобы было для чего-то годное.

Шпиль его прогнил до основания,
пыль его не вытряхнуть из леса,
если свет сияет в назидание,
то звезда горит без интереса.

ж ж ж

Верблюду горб размером с дом
преподнесла судьба,
но что ему в себе самом
до своего горба.

На гребнях гор белеет снег,
с весны и до весны,
но что ему в себе самом
от этой белизны.

Погас огонь, в огне истлев,
пустынен свет звезды,
но что ему в самом себе
от этой пустоты.

В ночи петух пропел и стих -
- певец не так уж юн,
но что нам всем в себе самих
до этих самых струн.

нравоучительные рифмы для жены маргариты и дочери марьи

Бежит ли жертва от себя самой,
спеша спастись во что бы то ни стало,
нам непонятно, есть ли в ней покой,
хотя, конечно, воли в ней немало.

Бредет ли дух какой, едва дыша,
не замечая, что промок до нитки,
хотя, конечно, духа в нем в избытке,
нам непонятно, есть ли в нем душа.

Лимон хорош тогда, когда он кисл,
а абрикос тогда, когда он сладок,
но непонятно, есть ли в этом смысл,
хотя, конечно, в этом есть порядок.

* * *

В пейзажах юга мы находим вкус,
где с удочкой присев под кипарис,
срывая лавры с фикуса искусств,
какую рыбу извлекая из ?, -

кладя обол на случай под язык,
на хлябях леты не припомнив зла,
не все ль равно - в какую из музы́к,
покуда в ней есть место для весла.

Из прокрустова ложа
без каких-либо жалоб -
этот свет неухожен,
как пчелиное жало,
этот мир непристроен,
непричисленный к лику,
он насуплен, как воин,
и зазубрен, как пика.
Что иному забава -
он зубами скрежещет,
мы, должно быть, неправы -
есть ужаснее вещи,
даже в худшее время -
если кто-нибудь падал,
ведьмы знали коренья,
врачевавшие падаль.

маргарите

Сонет

В лестничестве разгневанных дерев
Закат рисует мрачные пейзажи:
Пиковый клен в тоске по вербе треф
Туда влачит корней своих поклажу,

Ветвей своих пустых младые дни
И листьев бесконечные утраты
Туда, где реют мачтовые пни,
Пейзаж рисует мрачные закаты -
Картины, что одна милей другой,
И осени бубновые напитки:
Закат, пейзаж - вот все мои пожитки,
Которые влачу в тоске по той,

Которую, как стрекозу из клюва,
Роняет время: что ему Гекуба...

x x x

Вот дерево - его молчит сирень,
его листвы ремесла не ржавеют,
мотай на ус его смолистый пень,
вали его - оно не обеднеет.

Оно корабль в зеленый штоф воды,
в бутыль звезды туда, где брат твой авель,
но нам ли чтить в овце заблудших правил
семейный круг чистейшей пустоты.

x x x

На небе гордое горит,
под ним пустынное пустует,
но если сверху кто подует,
оно слезы не обронит.

Его печальное как туша,
его астральное как лед,
и если завтра будет хуже,
оно вас к сердцу не прижмет.

Его не спросишь о на скрипке
еще не сыгранной шарманке,
его потери были б зыбки,
когда бы не были так жалки...

Когда ж на Вы с таким участьем
оно глядит в прицел мушкета,
тогда кончаются несчастья
и как грибы плодятся беды.

x x x

Когда пассаж уже не стоит клавиш,
когда чернил не стоит мадригал,
ты на лету едва ли оседлаешь
какой-нибудь курьерский пьедестал.

Но в том пруду, что чуть поглубже лужи,
ты прыгнешь в лодку и возьмешь весло,
чтобы назад, к знакомой кромке суши
течением тебя не отнесло.

Поэт Виктор Тупицын родился в 1943 году. Один из участников московского правозащитного движения. Был избит и арестован во время "бульдозерной" выставки. Сейчас живет в США. Доктор математики, профессор Иллинойского университета.

Борис ВАХТИН

СЕРЖАНТ И ФРАУ

РАССКАЗ

- И попал я к ней в дом. И достает она для меня сервиз, накрывает стол скатертью собственноручной работы, вилки-ложки кладет серебряные. Потом улыбается и приглашает меня рукой - милости, дескать, прошу за мной. Чувствую я, что дома, кроме нас,никого нет, иду за ней, а она, нисколько не стесняясь, беззастенчиво идет впереди, открывает дверь передо мной.Прохожу мимо нее, оказываюсь в ванне. Вода горячая, мылом пахнет, как духами, а ванна такая - хоть плавай, не как у нас сейчас, что скрючишься, как зародыш, по очереди то ухо моешь, то колено. Зеркало, помазок новенький, бритва-ручка из слоновой кости. Ну, всё есть.Неудобно мне стало даже, но она улыбается так, что ты просто совершенно себя просто чувствуешь, вроде не солдат ты завоеватель, а к сестре в гости приехал, и не опасен ты для нее, как для женщины, а стопроцентно приятен. И дает она мне халат и показывает белье для меня, тонкое, на наше совсем не похожее,хотя предметы по назначению вроде те же.

- Мужа? - спросил сержант.

Фрау всмотрелась в его лицо, просветлела пониманием и отрицательно покачала головой.

Он прикрыл за ней дверь и запер на задвижку.

Бритый, причесанный,душистый чистотой и мылом,в меховых мягких туфлях, в халате до полу, с трофейным револьвером в кармане и с автоматом в руке, он вышел из ванны.

- Понимаешь, не мог я оружие оставить. Сопротивления в городке нам, конечно, уже не было, поскольку вчера они повсеместно капитулировали, но вдруг. А она уже ждет, ведет к столу - чего там не было! И до войны я все-таки жил, и в войну не голодал

- но такого ничего такого не видел. Красиво. Зелень, бутылки на подставках, мясо под соусом, печенье домашнее, сыр пяти сортов, пиво кувшином. А она сама не ест, не пьёт, только мной руководит, чтобы я ел и пил правильно. Я ей что-нибудь говорю, она на меня смотрит, думает и, понимаешь ли, понимает. И улыбается от радости, что понимает.

- Пейте и вы, - сказал сержант.

Фрау отрицательно замотала головой.

И такая она была жизнедеятельная, что сержант не настаивал - зачем ей пить, она от этого не улучшится, а только ухудшится, не так,как мы.

- Слушай, - сказал сержант. - Ты знаешь,что у меня за спиной?

Она посерьезнела и внимательно слушала большими глазами из-под выпуклого лба его губы, брови, глаза и голос,его руку,вдруг сжавшую рюмку.

- Отчего я стал много разговаривать?То ли от вина,то ли от того, что не понимала она моих слов, но словно бы и понимала. Однако стал. От Воронежа, как воевать начал, всё больше молчал, на Валдае молчал, Польшу прошел, в госпитале был - молчал,а тут, в Германии, в логове фашистского зверя, перед симпатичной немкой заговорил, словно в деревню вернулся или замполитом назначили. И понёс, и понёс.

- Знаешь, что у меня за спиной? - снова спросил сержант. - Не знаешь и не можешь знать. У тебя вот в доме чисто и красиво, подставка под бутылкой, и та приятную музыку играет, пока наливаешь, и лицо у тебя нежное и беззаботное, а на стене ковер с охотниками и оленями в натуральную почти величину, и вообще кругом культура, а у меня за спиной керосиновые лампы по землянкам, даже стекол и керосина не хватает. И везде окопы да воронки,так какое ты имеешь право меня не бояться?

Фрау улыбнулась, легко поднялась со стула и поставила перед ним деревянную коробку с резьбой. Он посмотрел на коробку, недоверчиво, как на мину, осторожно приподнял крышку,крышка поднялась, но не снималась, он потянул посильнее, а она не поддавалась, и он ее отпустил, и вдруг выскочила из коробки непонятно как и легла в ложбинку на крышке длинная сигарета.Он взял ее и понюхал - табак пахнул сильно и породисто, и он взял сигарету в рот, а фрау уже подносила ему зажженную спичку, и он посмотрел, прикуривая, на ее нежное лицо и увидел, что неизвестно еще, кому приятнее - ему ли курить эту тонкую штуку, или ей подносить спичку и смотреть.

- На Валдае, - сказал сержант, - в деревне мы стояли,уцелела деревня, ее поп отбил у немцев, такой вот был батюшка особенный, патриотический, он при ваших крестил детей, молебны служил, а как мы подошли, немцы жечь начали деревню, а у попа оружие было припрятано, он с прихожанами и начал палить по немцам,а жгли отряды специальные, им, конечно, ни к чему, чтобы по ним стреляли, и из-за деревни этой связываться они не пожелали и ушли. Но попа этого наши все-таки расстреляли потом - зачем немцам служил открытием церкви. Однако деревня уцелела, и мы в ней грелись у печек, некоторые успели попариться и даже кое-что еще

успели, а я сидел с хозяйкой за столом и пил чай, только из чайника, поскольку самовар немцы у них на память прихватили. Тоже хорошо принимала меня хозяйка, только вот она по-русски говорить умела.

- Что-то я несвязно тебе, друг, рассказываю, давно это было. И говорил я, говорил...

- Я тебя увезу домой, к себе, будешь всегда рядом и под рукой и под боком. Конечно, у меня не то, что у тебя, нет еще ковра такого, и вода горячая из крана нейдет,но твоя ко мне любовь все это превозможет, а летом сено пойдем косить, тепло,и там на лугу ничем не хуже, чем тут у тебя, даже лучше.

- Нам, русским, мой дед говорил, нельзя без Бога, темный он человек, вот и болтал глупости, но я почему-то запомнил. Нельзя никак, потому что без Бога для нашей лени никакого оправдания не остается. Ты-то как думаешь? На лугу ты уже по-русски выучишься, тогда и ответишь. Конечно, дед говорил, Бог тоже не ахти сколько работает - один раз шесть дней потрудился и даже переделывать не стал, не работает больше, сына вместо Себя послал, хотя мог, Всемогущий, и коллектив сыновей направить. Но, представь себе, дед говорил, блажь на Него снова найдет и опять заработает, тогда и обнаружится, что другие все народы трудились, как немцы, совершенно зря и напрасно, потому что Он все по-своему переделает, а у нас, у русских, переделок будет меньше, чем у других, так что в силу лени мы выйдем в самый передовой из народов. Глупый дед, а вот каждое слово помню. Я не часы, говорил дед, чтобы подтянул гирьку на всю жизнь и всю жизнь я тебе тикитак, тики-так и тикаю, как часы. У меня, говорил дед, по блажи всё, и оттого я к Господу ближе, чем немец, потому что немец к часам ближе - он их и придумал, а я даже к ходикам своим привыкнуть не могу и гирьку забываю, пока до полу не свиснет и часы не остановятся.

- И ты родишь мне сына, это мне хочется очень сейчас, чтобы вот отсюда из тебя сын мой вышел.

- А по блажи так я лучше немца сделаю, говорил мой дед,только невозможно меня заставлять, потому что если меня заставлять, то я ничего делать не пожелаю, а если деваться будет некуда,то, конечно, сделаю, но многое не доделаю, хотя и не заметишь,это я так подмудрю, недоделывая, что и не заметишь. Зато по блажи я тебе просто все могу, но чтобы по моей блажи, а не по твоей,или еще лучше по общей блажи. И еще я очень люблю мысли подавать, как другим наилучшим образом дела устроить и работать. И в этом я тоже с Господом схож, Он тоже мысль нам подал, а Сам теперь со стороны глядит, как у нас по Его мысли работа кипит. Вот какой у меня дед глупый, но он тебя полюбит, потому что ты добрая и работаешь по дому аккуратно, а это дед обожает, чтобы женщина с удовольствием работала.

- Нет, это что же такое получается, какого еще никогда со мной не получалось? Пришел я сюда, в эту проклятую Германию, и только война кончилась, в первые же сутки,вот лежу один на один с неизвестной мне фрау, и пахнет от меня неизвестным мылом и фашистскими винами, и вообще благодать мне так неутомимо нежиться, я и не знал, что такое бывает. Дом этот просторный, вокруг зе-

лень весенняя, внутри чистота и достаток, и фрау,даром что немка,а тоже неутомимо не спит и будто заранее все знает - я еще не знаю, а она уже именно так шевельнется,именно так ляжет,именно так сделает, как лучше и нельзя, как именно я бы захотел,если бы знал заранее. Будто бы мы с ней не то танец такой танцуем, не то плаваем дружно, не то в воздухе летим - не поймешь. И от вина ли, от полета все во мне кружится, что было и есть,перепутывается, то вспоминается, то забывается.

- Нет, ты погоди, ты не пей, ты потерпи, друг, пока я рассказывать кончу. Сидим это мы с ней, вот так она меня потчует,а я ей все рассказываю про войну, только я все страшнее и страшнее ей рассказываю, потому что совсем перестало мне нравиться, что она меня не боится. И я ей говорю - что же это мы с тобой вдвоем сидим, наслаждаемся, я сейчас гостей собирать буду.И ставлю я к столу еще один стул и говорю: "Садитесь, будьте добры, матушка моя, Александра Михайловна, ваш сын для вас завоевание это совершил под руководством боевых командиров, садитесь,пользуйтесь, сейчас фрау моя вас угостит". А матушка садится и говорит: "Что ты это, Леня, невеселый какой-то? Халат на тебе непривычный или выпил мало? А мы, Леня, без тебя скучаем немного. Стрелять-то больше не будете?" "Не будем, говорю, кончилось ваше беспокойство, скоро домой вернусь". "Ты заранее напиши,Леня, - говорит она, - мы вина приготовим, и сготовлю я тебе что получше, гостей-то много придет. Только береги себя,с опаской ходи, земля-то вражеская". И на фрау мельком посмотрела - без всякого выражения, только глянула вполглаза. И я на фрау посмотрел и спрашиваю: "Видишь мать мою?" А фрау внимательно смотрит на меня и словно виновато, даже голову немного опустила и то ли застеснялась слегка, то ли волнуется, но смотрит внимательно. А я новый стул ставлю и говорю: "Садитесь, говорю,хозяйка моя,что на Валдае меня чаем поила, смотрите, как живут простые фашистские люди, которых я с вашей помощью одолел". А она садится так непринужденно, тряхнула волосами, наилучшим образом завитыми, и говорит: "Выпьем за нашу победу, Леня, только жаль,водочки нет, все цветное стоит". Я говорю моей фрау: "Почему это у нас водки с тобой нет?" А фрау беспокоится, наливает хозяйке валдайской из темной бутылки и старается изо всех сил перед ней, а я вижу - ревнует моя фрау, и снисходительно ей говорю: "Надо было мне самому принести, в следующий раз напомни". И открываю я дверь и зову в гости всех, кого видеть хочу - и соседей наших, и родню всю, и товарищей, что погибли в войну, и отца своего,что еще до войны помер, и жену позвал. И все пришли, шумно стало в просторном доме, пьют, танцуют, песни поют, кто-то подрался немного,но не очень. Я сижу, со всеми беседую, а фрау хлопочет,ко всем поспевает, раскраснелась даже.

- Ты почему так раскраснелась? - спросил сержант.

Фрау глянула на него без улыбки и прямо, встала, взяла его за руку и повела. Из старинных часов раздался тихий звон - било одиннадцать.

Фрау привела сержанта в темную большую комнату, где зажгла две свечки в высоком подсвечнике. Темносиние шторы наглухо закрывали окно. Фрау улыбнулась сержанту и вышла.

Сержант огляделся. Едва ли не половину комнаты занимала огромная дубовая кровать, застеленная крахмальным бельем. Сержант шагнул к ней, и кто-то шевельнулся в углу комнаты,и сержант резко повернулся, спустив предохранитель в кармане халата.

В углу стоял трельяж, и в его зеркалах сержант увидел себя с разных сторон - бритое белое лицо с черными бровями,автомат в левой руке, правая засунута в карман, как у однорукого. Он обошел кровать, придвинул кресло, повесил на него автомат,затем халат карманом к себе и лег в постель.

Бесконечная мягкость перины приняла его.

- Эй, - позвал сержант негромко, и сразу вошла фрау, словно ждала за дверью.

Она успела переодеться, и на ней было что-то похожее на длинное до полу белое платье. Не глядя на сержанта, словно его и не было тут, фрау подошла к трельяжу, подняла руки к волосам - и светлые волосы сразу освободились и упали ей на плечи. Так же не торопясь и не оборачиваясь фрау расстегнула свое длинное одеяние, повела плечами, и оно соскользнуло на пол.

Сержант смотрел, приподнявшись на локте левой руки. Ничего особенного не было в этой фрау - какое лицо, такая и вся она оказалась, просто нормальная, просто ни в чем ни избытка,ни недостатка, чуть розовая в свете свечей, ничуть не ах,но сухо стало во рту у сержанта и хмель застучал в голове, а рука, державшая щеку, вздрогнула и ослабела.

Бездонная перина приняла внешне спокойную фрау.

Учат их где-то, что ли, - думал сержант, удивляясь сам себе в ходе этой удивительной ночи, - или она меня и в самом деле полюбила? Но как же это возможно, чтобы так сразу, случайно я к ней попал, мог и другой.

- А если бы другой зашел? - спросил сержант.

Фрау сняла голову с его плеча, потянулась куда-то рукой.Сержант скосил глаза. Она взяла со столика сигарету, вставила ему в рот, зажгла спичку.

- Не поняла ты, - сказал сержант, закурив, а пепельница уже была у него под рукой. - А если бы другой, я спрашиваю?

Фрау прижалась к нему теснее, нежно провела пальцами по его груди. Коснулась шрама, задержала пальцы.

- Пустяк, - сказал сержант. - Царапина.

На него вдруг набежала и сразу пропала быстрая мысль, что сейчас откроется дверь и войдет кто-то, кто здесь по праву и повсеночно спит, и он подумал о кармане в халате и о револьвере, но фрау склонилась над его шрамом и стала легонько его целовать, и сержант отставил пепельницу подальше, на деревянный край кровати, пепельница упала оттуда и зазвенела.

Фрау подняла глаза на сержанта, и он увидел, что в глазах у нее слезы.

- Ну, что ты, - сказал он и недовольно глянул на витые свечи, сильно уже укоротившиеся.

Стремительно скользнув, фрау задула свечи и неудержимо прижалась к сержанту.

Был полный мрак теперь вокруг, за окном прошагал патруль, профырчала машина.

Ночь бежала неторопливо, удивительная первая ночь после войны, и сержант не мешал войне уходить из него через кончики пальцев, через дыхание, которое становилось все свободнее и свободнее, не мешал входить в него любви - сначала от удивления,потом от человеческой нежной радости, потом уже и неизвестно откуда.

- Утомилась она к утру и замерла, а я нашел у спинки кровати какой-то толстый шнур, потянул его для проверки, и вдруг шторы слегка раздвинулись и немного мутного света попало в комнату, а я закрыл от него глаза и задремал. И не долго я дремал, может, минутку одну, но приснилось мне что-то до того неприятное, что и не помню толком, а только очень неприятное - будто гонятся за мной фашисты и врываются сюда через дверь, а я хватаю револьвер, но тут моя фрау, как кошка, в меня вцепляется, а они кричат ей - ножом его, ножом!

Сержант вздрогнул, открыл глаза и сел на постели.

Светилось будто чужое окно, тяжко свисали чужие занавески, постыло и глупо стояли зеркала в углу. Рядом беззвучно спала незнакомая женщина, паршиво пахло какими-то духами, шелком, мебелью - ни одного знакомого запаха, даже пепел с полу, рассыпавшийся из пепельницы, пахнул непривычно. Вино и любовь ушли из сержанта, и внешний свет, медленно нарастая в окне,звал к обычной жизни, напоминал о жене в далекой деревне, о матери, об их доме, почерневшем от дождей.

Что он делает здесь, он, солдат, среди этой квадратной шири чужой кровати? На черта ему теплая ванная, дурацкий халат? На черта ему эта баба, такая вдруг постылая и ни к чему? И этот домик с палисадничком, тирли-мирли, аккуратненький,чистенький,надо же, как живут. Может, и он так бы непрочь, да вот не надо ему, пропади оно всё, не под силу ему, не выдержать,хоть криком кричи.

И что это он молол ей ночью? Тоже хороша - заманила первого попавшегося и ластится, ублажает. Чего ей надо? К чему подкрадывается? Царапину целовала, а сама, небось, своего фашиста при этом вспоминала. Лежит ее фашист где-нибудь в земле со всеми потрохами, а она в нем своего фашиста представляет. Может, и вправду похож? Вырядила под своего фрица и воображает.

А может, и посерьезней что замыслила? Недаром рассказывали, что вот так немки наших заманивают, ублажают, а как наш брат расслабится,размякнет, они его сонного или спящего - на тот свет прямым ходом. Но меня так не возьмешь, сейчас и уйду, привет,не получится у тебя.

Фрау вздохнула, словно всхлипнула, повернулась к сержанту, потянулась к нему.

Отчего же и нет? На прощанье, так сказать. Только молча и грубо, как ты того заслужила, вырядив меня под фрица своего.Что, меньше так нравится?

Сержант еще лежал на ней, словно вдруг уснул, когда рука фрау тихо-тихо снялась с его плеча и тихо-тихо скользнула под перину.

Но сержант видел, потому что ждал. Он хорошо помнил,как проворна была фрау, когда гасила свечи, и потому действовал быстро

и четко, заранее все соизмерив и рассчитав - где он, где карман с револьвером.

И когда он стрелял, фрау не успела даже голову к нему повернуть,даже глянуть и вскрикнуть.

Сержант надел халат и туфли, обошел кровать с мертвой, тихо лежавшей в бесконечной мягкости и белизне, вынул ее теплую нежную руку из-под перины.

- Ты думаешь, нож эта рука держала? Какой-то платок шелковый, на черта она за ним полезла, скажи?

- Мало ли зачем, - сказал я.

- Нет, ты погоди, не пей, до поезда еще долго,успеешь, - сказал он. - Выпьешь еще. Двадцать лет прошло, старый я уже. Зачем ей этот платок нужен был?

- Мало ли зачем, - сказал я, - женщине платок в кровати.

- Ты объясни, зачем я стрелял? - спросил он. - Схватил бы руку, наконец. Чего я испугался? Не ее же?

- Нет, не ее, - сказал я.

- А чего? - спросил он.

- Как же ты выпутался? - спросил я.

- Как, как. Рассказал я все следователю, а он на меня как закричит: фашистку выгораживаешь? Платок выдумал? Нож у нее был! Ясно? И если, кричит, слово еще про платок скажешь - я тебя,кричит, в лагерях сгною! И отправили меня конвоировать эшелон, а потом сразу демобилизовали. Следователь к эшелону пришел.Ты,говорит, сержант, из головы это выброси, пьяный ты был, не запомнил точно. Поезжай к жене и матери, пять лет они тебя ждут,живи спокойно, не виноват ты лично ни в чем. Ясно? Так точно, ясно, говорю. Очень злой был следователь, никому я не рассказывал.

- А мы с тобой раньше не встречались? - спросил я.

Он посмотрел на мое белое лицо с черными бровями и сказал:

- Нет, не встречались вроде. Так ты мне не можешь, значит, ничего объяснить?

Получается вроде так, что не могу. Еще много лет на свете пройдет и много крови прольется, пока мы друг другу сумеем что-то начать объяснять.

Иосиф БРОДСКИЙ

ЗОФЬЯ

глава первая

В сочельник я был зван на пироги
За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
я к форточке прижался головой:
за окнами маячил постовой.

Трамваи дребезжали в темноту,
вагоны громыхали на мосту,
постукивали льдины о быки,
шуршанье доносилось от реки,
на перескрестке пьяница возник,
еще плотней я к форточке приник.

Дул ветер, развевался снегопад,
маячили в сугробе шесть лопат.
Блестела незамерзшая вода,
прекрасно индевели провода.
Поскрипывал бревенчатый настил.
На перекрестке пьяница застыл.

Все тени за окном учетверя,
качалось отраженье фонаря
у пьяницы как раз над головой.
От будки отделился постовой
и двинулся вдоль стенки до угла,
а тень в другую сторону пошла.

Трамваи дребезжали в темноту,
подрагивали бревна на мосту,
шуршанье доносилось от реки,
мелькали в полутьме грузовики,
такси неслось вдали во весь опор,
мерцал на повороте светофор.

Дул ветер, возникавшая метель
подхватывала синюю шинель.
На перекрестке пьяница икал.
Фонарь качался, тень его искал.
Но тень его запряталась в белье.
Возможно, вовсе не было ее.

Тот крался осторожно у стены,
ничто не нарушало тишины,
а тень его спешила от него,
он крался и боялся одного:
чтоб пьяница не бросился бегом.
Он думал в это время о другом.

Дул ветер и раскачивался куст,
был снегопад медлителен и густ.
Под снежною завесою сплошной
стоял он, окруженный белизной.
Шел снегопад, и след его исчез,
как будто он явился из небес.

Нельзя было их встречу отвратить,
нельзя было его предупредить,
их трое оказалось. Третий - страх.
Над фонарем раскачивался мрак,
мне чудилось, что близится пурга.
Меж ними оставалось три шага.

Внезапно громко ветер протрубил,
меж ними промелькнул автомобиль,
метнулось белоснежное крыло,
внезапно мне глаза заволокло,
на перекрестке кто-то крикнул "нет",
на миг погас и снова вспыхнул свет.

Был переулок снова тих и пуст,
маячил в полумраке черный куст.
Часы внизу показывали час.
Маячил вдалеке безглавый Спас.
Чернела незамерзшая вода.
Вокруг не видно было ни следа.

Я думаю порой о том, что ночь,
не в силах снегопада превозмочь
и даже ни на четверть, ни на треть

не в силах сонм теней преодолеть,
который снегопад превозносил,
дает простор для неизвестных сил.

Итак, все было пусто и темно,
еще немного я глядел в окно,
во мраке куст переставал дрожать,
трамваи продолжали дребезжать,
вдали - слегка подрагивал настил.
Я штору потихоньку опустил.

Чуть шелохнулись белые листки.
Мать штопала багровые носки.
Отец чинил свой фотоаппарат.
Листал журналы на кровати брат,
а кот на калорифере урчал.
Я галстуки безмолвно изучал.

Царили тишина и полумгла,
ныряла в шерсть блестящая игла,
над ней очки блестели в полумгле,
блестели объективы на столе,
во мраке кот с урчанием дышал;
у зеркала я галстуком шуршал.

Отец чинил свой фотоаппарат,
среди журналов улыбался брат, -
рождественский рассказ о чудесах;
поблескивал за стеклами в часах,
раскачиваясь, бронзовый овал.
У зеркала я галстук надевал.

Мать штопала багровые носки,
блестели календарные листки,
горела лампа в розовом углу,
пятно ее лежало на полу,
из-под стола кошачий взгляд блестел.
У зеркала мой галстук шелестел.

Царила тишина, и кот урчал;
я, в зеркало уставившись, молчал;
дул ветер, завывающий трубой.
И в зеркало внимательно собой,
скользя в стекле глазами вверх и вниз,
я молча любовался, как Нарцисс.

Я освещен был только со спины,
черты лица мне были не видны,
белела освещенная рука.
От башмаков и до воротника
глаза движенье стали учащать,
пора мне это было прекращать.

Я задержался в зеркале еще:
блестело освещенное плечо,
я шелковой рубашкой шелестел,
ботинок мой начищенный блестел,
в тени оставшись, чуть мерцал другой;
прекрасен был мой галстук дорогой.

Царили тишина и полумгла.
В каком-то мире двигалась игла,
бог знает что в журнале брат читал,
отец бог весть где мыслями витал,
зажав отвертки в розовой руке.
У зеркала стоял я вдалеке.

Я думаю, что в зеркале моем
когда-нибудь окажемся втроем
во тьме, среди гнетущей тишины,
откуда-то едва освещены,
я сам и отраженье и тоска -
единственная здесь без двойника.

Бежала стрелка через циферблат,
среди журналов улыбался брат,
издалека к ботинку моему
струился свет, переходя во тьму,
лицо отца маячило в тени,
темнели фотографии родни.

Я, штору отстранив, взглянул в окно;
кружился снег, но не было темно,
кружился над сугробами фонарь,
нетронутый маячил календарь,
маячил вдалеке безглавый Спас,
часы внизу показывали час.

Горела лампа в розовом углу,
и стулья отступали в полумглу,
передо мною мой двойник темнел,
он одевался, голову склоня.
Я поднял взгляд и вдруг остолбенел:
все четверо глядели на меня.

Отец чинил свой фотоаппарат,
мерцал во тьме неясно цифеблат,
брат, лежа на спине, смотрел во мглу,
журнал его валялся на полу,
за окнами творилась кутерьма,
дрожала в абажуре бахрома.

Царили полумрак и тишина,
была на расстоянии слышна
сквозь шерсть носка бегущая игла,

шуршанье доносилось из угла,
мне надоело об одном твердить,
пора мне было в гости уходить.

Я задержался на календаре,
итак, я оказался в январе,
за шторами безмолвствовал фонарь,
молчал передо мною календарь.
Боясь, что год окажется тяжел,
я к выходу из комнаты пошел.

Внезапно что-то стало нарастать,
брат с раскладушки попытался встать,
мать быстро поднялась из-за стола,
и вверх взвилась, упав из рук, игла,
отец схватил свой фотоаппарат,
из-под стола сверкнул кошачий взгляд.

И раздалось хрипение часов,
и лязгнул за спиной моей засов,
я быстро обернулся и застыл:
все в комнате, кому же запирать?
Отец бесшумно штору опустил,
НЕЛЬЗЯ ТЕПЕРЬ ЗАСОВАМ ДОВЕРЯТЬ.

Я пятился, и пятилось окно.
Кот прыгнул в освещенное пятно.
Под потолком, где скапливалась мгла,
сверкала ослепленная игла.
От ужаса я чуть не закричал,
среди журналов мой отец торчал.

Появится ли кто-нибудь меж нас!
Протянется ли что-нибудь из глаз,
похожее на дерево в пыли.
Уста мои разжаться не могли,
в обоях на стене явился мел;
от ужаса я весь окостенел.

Деревья в нашей комнате росли!
Ветвями доставая до земли
и так же доставая потолка,
вытряхивая пыль из уголка;
но корни их в глазах у нас вились,
вершины в центре комнаты сплелись.

Я вглядывался в комнату трезвей,
всё было лишь шуршание ветвей,
ни хвоя, ни листва их не видна,
зима для них была соблюдена,
но ель средь них, по-моему, была;
венчала их блестящая игла.

Два дерева у матери из глаз,
по стольку же у каждого из нас.
Но все они различной высоты,
вершины одинаково пусты,
одно иглу имело на конце.
У каждого два дерева в лице.

Все кончилось впотьмах, как началось,
все кончилось, бесшумно улеглось,
и снова воцарилась полумгла,
мелькнула между стульями игла,
я замер в полумраке у окна,
и снова воцарилась тишина.

Игла еще лежала на полу,
брат вздрагивал с журналами в углу,
еще не прояснился циферблат,
отец уже чинил свой аппарат;
засов обратно прыгнул в тишине,
и штора развевалась на окне.

Все кончилось, все быстро улеглось,
вновь каждому занятие нашлось.
Кот сумрачно под лампою лежал,
и свет его прекрасно окружал.
Я штору все пытался разглядеть,
раздумывал: кто мог ее задеть.

Мать молча что-то с пола подняла,
в руках ее опять была игла.
Ладонями провел я по вискам;
игла уже ныряла по носкам;
над ней очки мерцали в полумгле,
блестели объективы на столе.

Дул ветер, и сгущалась темнота,
за окнами гудела пустота,
я вынул из-за форточки вино,
снег бился в ослепленное окно
и издавал какой-то легкий звон,
вдруг зазвонил в прихожей телефон.

И тотчас же, расталкивая тьму,
я бросился стремительно к нему,
забыв, что я кого-то отпустил,
забыв, что кто-то в комнате гостил,
что кто-то за спиной моей вздыхал.
Я трубку снял и тут же услыхал:

- Не будет больше праздников для вас
не будет собутыльников и ваз

не будет вам на родине житья
не будет поцелуев и белья

не будет именинных пирогов
не будет вам житья от дураков

не будет вам поллюции во сны
не будет вам ни лета ни весны

не будет вам ни хлеба ни питья
не будет вам на родине житья

не будет вам ладони на виски
не будет очищающей тоски

не будет больше дерева из глаз
не будет одиночества для вас

не будет вам страдания и зла
не будет по страдании тепла

не будет вам ни счастья ни беды
не будет вам ни хлеба ни воды

не будет вам рыдания и слез
не будет вам ни памяти ни грез

не будет вам надежного письма
не будет больше прежнего ума

Со временем утонете во тьме.
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.

Былое оборотится спиной,
подернется реальность пеленой.

Я трубку опустил на телефон,
но говорил, разъединенный, он.

Я галстук завязал и вышел вон.

глава вторая

В сочельник я был зван на пироги

За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
трамваи дребезжали вдалеке,
сворачивали мальчики к реке,
подкатывали вороны к сыскной,

карнизы поражали белизной,
витрины будоражили умы,
волнение по правилам зимы
охватывало город в полутьме,
царило возбуждение в уме,
и лампочки ныряли у ворот
в закрытый снегопадом небосвод.

Фургоны отъезжали в темноту,
трамваи дребезжали на мосту,
царило возбужденье и тоска,
шуршала незамерзшая река,
раскачивался лист календаря,
качалось отраженье фонаря,
метались в полумраке по стене
окно и снегопад наедине,
качался над сугробами забор,
раскачивался в сумраке собор,
внутри его подрагивал придел,
раскачивался колокол, гудел,
подрагивали стрелки на часах,
раскачивался Бог на небесах.
Раскачивалась штора у плеча,
за окнами двуглавая свеча
раскачивалась с чувством торжества,
раскачивался сумрак Рождества.
Кто знает, как раскачивать тоску,
чтоб от прикосновения к виску
раскачивалась штора на окне,
раскачивались тени на стене,
чтоб выхваченный лампочками куст
раскачивался маятником чувств
(смятенье, унижение и месть)
с той разницей, чтоб времени не счесть,
с той разницей, чтоб времени не ждать,
с той разницей, чтоб чувств не передать.

Чтоб чувства передать через него,
не следовало в ночь под Рождество
вторгаться в наступающую мглу
двуглавыми свечами на углу,
бояться поножовщины и драк,
искусственно расталкивая мрак,
не следовало требовать огня:
вчерашнее - для завтрашнего дня,
все чувства будут дб смерти нужны,
все чувства будут вдруг обнажены
в предчувствии убийственных вестей,
как будто в поножовщине страстей
за вами кто-то гонится вослед.
Напрасно вы не выключили свет!

Сомнамбулою уличных огней,
пристанищем, ристалищем теней,
обителью, где царствует сквозняк,
качался офицерский особняк,
так, если кто-то гонится вослед,
неузнанными в блеске эполет,
затерянными в бездне анфилад,
зажавшими в ладонях шоколад,
обнявшими барочные сосцы
окажутся пехотные юнцы,
останется непролитой их кровь,
останутся их дамы и любовь,
их яблоки, упавшие из ваз, -
предел недосягаемости ваш.

Кто вздрагивал под вывескою "вход",
кто вздрагивал в предчувствии невзгод,
кто вздрагивал, предчувствуя беду,
кто вздрагивал единожды в году,
кто на душу не принял бы греха,
чья светлая душа была глуха,
кто вовремя уменьшил кругозор,
кто вздрагивал, предчувствуя позор.
Насмешка, издевательство и срам:
предел недосягаемости - храм,
пример несокрушимости - орех,
пример недосягаемости - грех,
пример невозмутимости - бокал
среди несокрушимости зеркал.

Кто выживет в прогулках у Невы,
беспечнее, прекраснее, чем вы,
прелестнее, прекраснее одет,
кто вам не оборотится вослед
с прекрасною улыбкой, никогда
в чьем сердце не оставите следа,
в чьем взоре промелькнет голубизна,
в чьем взоре распластается Нева,
чье черное пальто и синева
останутся когда-нибудь без нас
в потемках и в присутствии огней,
не чувствуя присутствия теней.
Не чувствуя ни времени, ни дат,
всеобщим solitude и soledad,
прекрасною рукой и головой
нащупывая корень мировой,
нащупывать в снегу и на часах,
прекрасной головою в небесах,
устами и коленями - везде -
нащупывать безмерные О, Д -
в безмерной Одинокости Души,
в Дому своем и далее - в глуши

нащупывать на рОДине весь гОД,
в неверии - о ГоспОДи, mein Gott,
выискивать не АД уже, но ДА -
нащупывать свой выхОД в никогда.

Безмолвно наслаждаясь из угла,
все детство наблюдая в зеркала,
предел невозмутимости их пруд,
безмерно обожая изумруд,
ухмылки изумрудные гостей -
достигнувшими возраста страстей,
почувствуем ли спрятанный в них клАД,
присущий только подлинности хлАД,
вокруг него и около кружа,
доподлинным обличьем дорожа,
доподлинно почувствуешь ли в них,
себя уже стократ переменив,
портьеру или штору теребя,
почувствуешь ли в зеркале себя.

Укрыться за торшерами в углу,
укрыться офицером на балу,
смотреть в апоплексический портрет,
какое наслаждение и бред,
на дюреровской лошади верхом
во тьму на искушение грехом,
сжимая поредевшие виски,
въезжая в Апокалипсис тоски,
оглядываться сызнова назад -
внезапно нарастающий азарт
при виде настигающих теней
и грохот огнедышащих коней,
и алый меч в разверстых небесах
качается, как маятник в часах.

Я вижу свою душу в зеркала,
душа моя неслыханно мала,
не более бумажного листа, -
душа моя неслыханно чиста,
прекрасная душа моя, Господь,
прелестная не менее, чем плоть,
чем далее, тем более для грез
до девочки Ты душу превознес, -
прекрасная, как девочка, душа,
ты так же велика, как хороша, -
как девочке присущий оптимизм,
души моей глухой инфантилизм
всегда со мной в полуночной тиши.
За окнами ни плоти, ни души.

За окнами мерцают фонари.
Душа моя безмолвствует внутри,

безмолвствует смятение в умах,
душа моя безмолвствует впотьмах,
безмолвствует за окнами январь,
безмолвствует на стенке календарь,
безмолвствует во мраке снегопад,
неслыханно безмолвствует распад,
в затылке нарастает перезвон,
безмолвствует окно и телефон,
безмолвствует душа моя, и рот
безмолвствует, немотствует народ,
неслыханно безмолвствует зима,
от жизни и от смерти без ума.
В молчании я слышу голоса.
Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.
Юродствует земля без языка.
Лишь свету от небес благодаря,
мой век от зарожденья фонаря
до апокалиптических коней
одна жестикуляция теней,
белесые запястия и вен
сиреневый узор, благословен
создавший эту музыку без нот,
безногого оракула немот,
дающего на все один ответ:
молчание и непрерывный свет.

В безмолвии я слышу голоса.
Безмолвствуют земля и небеса.
В безмолвии я слышу легкий гуд,
и тени чувств по воздуху бегут.
Вопросы, устремленные, как лес,
в прекрасное молчание небес,
как греза о заколотых тельцах,
теснятся в неприкаянных тельцах.
Едва ли взбудоражишь пустоту
молитвой, приуроченной к посту,
прекрасным возвращеньем в отчий дом
и маркой на конвертике пустом,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.

Как будто это ложь, а это труд,
как будто это жизнь, а это блуд,
как будто это грязь, а это кровь,
не грех - но это странная любовь.
Не чудо, но мечта о чудесах,
не праведник, а все ж поторопись
мелькнуть и потеряться в небесах
открыткой в посполитный парадиз,
как будто это ниточка и связь,
как будто над собою не смеясь,

твердишь себе: вот Бог, а вот порог,
как будто это ты, а это Бог,
как будто век жужжит в Его руке,
а жизнь твоя, как Ио, вдалеке.

Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
укрыли блудных сыновей и дочь
прекрасную, и адрес изменив,
чтоб чувства не усиливали миф,
не следовало в ночь под Рождество
выскакивать из дома своего,
бояться поножовщины и драк,
выскакивать от ужаса во мрак,
не следовало в панике большой
спасаться от погони за душой,
не следовало верить в чудеса,
вопросом устремляться в небеса,
не следовало письма вам писать,
не следовало плоть свою спасать.

Но в ночь под Рождество не повторять
о том, что можно много потерять,
что этого нельзя предотвратить,
чтоб жизнь свою в корову обратить,
как будто ты ужален и ослеп,
за белою коровой вьется вслед
жужжащая небесная оса,
безмолвствуют святые небеса,
напрасно ты, безмолвствуя, бежал
ужасного, но лучшего из жал,
напрасно ты не чувствуешь одно:
стрАДаний ОДинаково ДАно,
стрАДанье и забвение - труха,
стрАДание не стоило греха.
Почувствуешь ли в панике большой
бессмертную погоню за душой,
погоню, чтобы времени не ждать,
с той выгодой, чтоб чувства передать
в мгновение, схватившее виски,
в твой век по мановению тоски,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.
Предчувствуешь все это в снегопад,
в подъезде петроградский телепат,
и чувства распростертые смешны
шпагатом от войны и до войны,
он шепчет, огибая Летний сад:
немыслимый мой польский адресат.

Любовь твоя - воспитанница фей,
возлюбленный твой - нынешний Орфей,
и образ твой - фотографа момент,

твой голос - отдаленный диксиленд.
Прогулки в ботаническом саду,
возлюбленного пение в аду,
возлюбленного пение сквозь сон, -
два голоса, звучащих в унисон,
органный замирающий свинец,
венчальные цветы, всему венец,
душа твоя прекрасна и тиха,
душа твоя не ведает греха,
душа твоя по-прежнему в пути,
по-прежнему с любовью во плоти.

Ничто твоей души не сокрушит.
Запомни, что душа твоя грешит!
Душа твоя неслыханно больна.
Запомни, что душа твоя одна.
От свадебного поезда конец
души твоей неслыханный венец,
души твоей венчальные цветы,
блестящие терновые кусты.
Душа твоя грехи тебе простит,
душа тебя до девочки взрастит,
душа твоя смоковницу сожжет,
душа твоя обманет и солжет,
душа твоя тебя превознесет,
от Страшного Суда душа спасет!

Чье пение за окнами звучит?
Возлюбленный за окнами кричит.
Душа его вослед за ним парит.
Душа его обратно водворит.
Как странно ты впоследствии глядишь.
Действительно ты странствуешь весь день,
душа твоя вослед тебе, как тень,
по комнате витает, если спишь,
душа твоя впоследствии как мышь.
Впоследствии ты сызнова пловец,
впоследствии "таинственный певец" -
душа твоя не верит в чепуху -
впоследствии ты странник наверху.

Так, девочкой пожертвовать решась,
любовь твоя, души твоей страшась,
под черными деревьями дрожит,
совсем тебя впоследствии бежит,
на улице за окнами рябя,
там что-то убегает от тебя,
ты смотришь на заржавленный карниз,
ты смотришь не на улицу, а вниз,
ты смотришь на окно любви вослед,
ты видишь сам себя - автопортрет,
ты видишь небеса и тени чувств,

ты видишь диабаз и черный куст,
ты видишь это дерево и ад,
в сей графике никто не виноват.

Кто плотью защищен, как решетом,
за собственной душой, как за щитом,
прекрасной задушевностью дыши
за выпуклым щитом своей души.
Все жизнь твоя, минувшая, как сон:
два голоса, звучавших в унисон,
деревьев развевающихся шум,
прекрасными страданьями твой ум
наполненный, как зернами гранат;
впоследствии прекрасный аргонавт,
впоследствии ты царствуешь в умах,
запомни, что ты царствуешь впотьмах,
однако же все время на виду,
запомни, что жена твоя в аду.

Уж лучше без глупца, чем без вруна,
уж лучше без певца, чем без руна,
уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,
уж легче утонуть, чем дальше плыть.
Но участи пловца или певца
уж лучше положиться на гребца.
Твой взор блуждает сумрачен и дик,
доносится до слуха Эвридик
возлюбленного пение сквозь ад,
вокруг него безмолвие и смрад,
вокруг него одни его уста,
вокруг него во мраке пустота,
во мраке с черным деревом в глазу
возлюбленного пение внизу.

Какая наступает тишина
в прекрасном обрамлении окна,
когда впотьмах, недвижимый весь век,
как маятник, качнется человек,
и в тот же час, снаружи и внутри,
возникнет свет внезапный для зари,
и ровный звон над копьями оград,
как будто это новый циферблат
вторгается, как будто неспеша
над плотью воцаряется душа,
и алый свет, явившийся извне,
внезапно воцаряется в окне,
внезапно растворяется окно,
как будто оживает полотно.

Так шествовал Орфей и пел Христос.
Так странно нам кощунствовать пришлось,
впоследствии нимало не стыдясь.

Прекрасная раскачивалась связь,
раскачивалась, истово гремя,
цепочка между этими двумя.
Так шествовал Христос и пел Орфей,
любовь твоя, воспитанница фей,
от ужаса крича, бежала в степь,
впотьмах над ней раскачивалась цепь
как будто циферблат и телефон,
впотьмах над ней раскачивался звон,
раскачивался бронзовый овал,
раскачивался смертный идеал.

Раскачивался маятник в холмах,
раскачивался в полдень и впотьмах,
раскачивался девочкой в окне,
раскачивался мальчиком во сне,
раскачивался чувством и кустом,
раскачивался в городе пустом,
раскачивался деревом в глазу,
раскачивался здесь и там, внизу.
Раскачивался с девочкой в руках,
раскачивался крик в обиняках,
раскачивался тенью на стене,
раскачивался в чреве и вовне,
раскачивался, вечером бледнел,
при этом оглушительно звенел.

Ты маятник, душа твоя чиста,
ты маятник от яслей до креста,
как маятник, как маятник другой,
как маятник, рука твоя с деньгой,
ты маятник, отсчитывая пядь
от Лазаря к смоковнице и вспять,
как маятник от злости и любви,
ты движешься, как маятник в крови.
Ты маятник, страданья нипочем,
ты маятник во мраке ни при чем,
ты маятник и маятника брат,
душа твоя прекрасный циферблат,
как маятник, чтоб ты не забывал,
лицо твое, как маятник, овал.

Как маятник, то умник, то дурак,
ты маятник от света и во мрак,
за окнами, как маятник, рябя,
зачатие, как маятник, тебя.
Ты маятник, как маятник я сам,
ты маятник по дням и по часам,
как маятник, прости меня,Господь,
как маятник, душа твоя и плоть,
как маятник по каждой голове,
ты маятник - от девочки в траве,

ты маятник внизу и наверху,
ты маятник страданью и греху,
ты маятник от уличных теней
до апокалиптических коней.

КРИК:

Я маятник. Не трогайте меня.
Я маятник для завтрашнего дня.
За будущие страсти не дрожу,
я сам себя о них предупрежу.
Самих себя увидеть в нищете,
самих себя увидеть на щите,
заметить в завсегдатаях больниц -
божественная сущность единиц.
Признание, награда и венец,
способность предугадывать конец,
достоинство, дарующее власть,
способность, возвышающая страсть,
способность возвышаться невпопад,
как маятник - прекрасный телепат.

Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к сношению в крови,
способные к заразе и к любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут,
что будет поразительней для глаз,
чем чувства, настигающие нас
с намереньем до горла нам достать
СОВЕТУЮ ВАМ МАЯТНИКОМ СТАТЬ.

апрель 1962

Виктор СОСНОРА

ИЗ КНИГИ «1973»

ПРОЗА. СТИХИ

памяти пастернака

В Париже бастовали мусорщики.

Фанерные ящики из-под фруктов, склянки из-под консервов, бутылки, восковые пакеты из-под молока, всецветное тряпье, - пустяки быта, - все это было выброшено на тротуары, - баррикады. По Парижу с самоуверенностью захватчиков расхаживали крысы. В свете фар они вставали на задние лапы и - в медвежьих шкурах - ревели.

В Париже не было питьевой воды, ее развозили в фургонах, ледяные полиэтиленовые бутылки.

В Париже праздновали столетие Ленина. По Парижу развесили, расклеили и расставили его портреты, и некоторые негры и бразильцы носили в петлице его значок с изображением.

Профессор Венсенского университета,член коммунистической партии Франции, Клод Фриу выпустил книгу о Маяковском, но заявил о своей приверженности правительству. Фриу был заперт студентами в телестудии университета и терроризирован: ему не давали есть: приносили в форточку только виски и коньяк. Коммунистическая партия вмешалась. Когда Фриу вышел из телеотемницы, его отправили в психиатрическую лечебницу, а потом единодушно и единогласно избрали ректором.

В бассейне Венсенского университета сидели юноши и девушки, без так называемой одежды и читали в волнах стенограммы лекций. Там же в бассейне кое-где плавали белые пудели и таксы.

В еврейском квартале в ресторане под могендовидом плясал еврей неслыханных размеров с волосатым брюхом, похожий на Тараса Бульбу.

По радио передавали маленькую радиопьесу о том, как польский писатель-эмигрант Марек Хласко покончил с собой где-то в Германии, что-то два-три года назад. У него развилась мания преследования, он запрещал входить к себе в номер и отключал телефон.Ко-

гда полиция взломала дверь, он (уже его труп) сидел за столом голый, перед ним стояла бытылка виски, все лицо его было залито слезами, как у ребенка, замерзло.

Прогулочные теплоходы освещали фарами хиппи, без тени стеснения предающихся половым сношениям прямо на набережной Сены.

Американский писатель Джеймс Джонс после больших бутылок плавал в бассейне собственной квартиры на Сене, в голубой воде. Пятьдесят лет, с могучим торсом, "славянское",то есть татарское лицо, маленькие голубые глазки, страшные брови вениками.Он осмысливал в бассейне следующий свой многотомный бестселлер о войне и мире, а выпрыгивая из бассейна, шатался по всей паркетно-мраморной квартире голышом, босиком в поисках ремня или подтяжек с пряжками, чтобы поколотить от ревности свою девочку-жену.

Американский миллионер мистер Хант после обеда, состоящего из омлетов, земляники и кое-каких травок, читал Платона на древне-греческом языке и всё знал о Марксе. Мистеру Ханту что-то за восемьдесят, лыс, толст, но животом, а не лицом, в тяжелых грубошерстных костюмах. После обеда он пил коньяк (и крепко), так и засыпал с Платоном.

Телохранитель мистера Ханта Луиджи, бывший шеф какой-то итальянской мафии, выкупленный Хантом у какого-то там федерального, что ли, суда, ходил на больших пальцах, как балерин,в белой лакейской куртке, под которой буквально играли мускулы,и переставлял серебряные тарелки с нежностью, очевидно, свойственной всем гангстерам.

У Луиджи было две виллы в Италии, дом в Америке, дом под Парижем, он не терпел гостиниц. Две машины в Париже, повседневная, с кузовом для продуктов, и воскресная, для католических праздников или гуляний. На вилле у Ханта Луиджи разводил белочек, зайчиков, фазанов, красивых просто птичек и хомяков, - такой вольер. С местным пастором они удили форель в Провансе,толковали наизусть библейские тексты, критикуя со страстью апокрифы. Луиджи было 54 года, тело гориллы, он убил (участвовал опосредственно в убийстве) около 200 человек.

Полин Ротшильд писал эссе о Кижах. Филипп Ротшильд переводил стихи романтиков Испании, кажется, на итальянский.

Князь Николай Татищев, лет двадцати семи, воспитанный,нервный и агрессивный юноша,публиковал стихотворения на русском языке и совсем не умел говорить по-русски, - путался в инфинитивах.

Графиня Шувалова продавала у Диора замшевые пальто.

Великий князь Константин претендовал на советский престол.

У Антониони в фильме "Забрийский пойнт" верх современности женское имя "Дарья".

В такси так же невозможно говорить по-французски, как в советском посольстве. Вечером проститутки подходят и еще с надеждой, что ошиблись, спрашивают - откуда? - и, махнув рукой,вздыхая, уходят.

Роберт Масси написал том об убийстве семейства Романовых и сейчас писал о Петре Первом. Его жена, Сюзанн Масси издавала в Лондоне и в Нью-Йорке антологию пяти ленинградских поэтов.У них в саду, на улице Вишневый сад около казарм гард-републикен играли гвардейские горны, а в саду за салатом и легким вином с су-

хариками сидели знаменитые певцы Америки Питер, Пол и Мэри.Телосложением они - титаниды, учились под свои банджо и гитары произношению французских слов. Питер был выходец из России и композитор всей этой труппы. По зеленым газонам сада бегало два кролика, а рядом у магазина сидел русский медведь красного цвета и пускал из морды мыльные шары. Естественно,медведь не настоящий.

Эльза Юрьевна Триоле отказалась встречаться с Михалковым, чем привела последнего в неописуемое изумление,ибо он был твердо уверен, что весь так называемый культурный Париж будет польщен его визитами.

Левые студенты с женскими волосами били изо всех сил нескольких полицейских и были просто ошарашены несправедливостью буржуазного общества потребления, когда на жалобные вопли полицейских примчалась бронированная машина и студенты были избиты и брошены на два дня в тюрьмы.

Экзистенциалист Жан-Поль Сартр требовал, чтобы его,не мешкая ни секунды, арестовали за его революционные мысли и чувства, но полиция наотрез отказалась квалифицировать его мысли и чувства как революционные. Тогда он вышел на улицу и что-то совершил (за ухо, что ли, кого-то хватанул?). Его арестовали.Экзистенциалист отсидел несколько дней в тюрьме (несколько комнат, ванна, ресторанное меню, только что без девок и без телефона) и написал за эти несколько дней книгу про нечеловеческие ужасы парижских тюрем.

Советские туристы бегали, как бедняги, по магазинам и проклинали изо всех своих сил дороговизну Запада и Капитализма (им обменяли на валюту по 13 рублей, и за эти тринадцать серебреников они хотели скупить всю Францию).

У Эйфелевой башни продавали сувениры - эйфелевы башенки - и отправляли желающих наверх то ли на лифте, то ли на фуникулере. Большинство доезжало только до первого этажа.Пили,с восхищеньем глядя на прекрасную землю, вниз. Тут же на Сене в букинистических лавочках, расставленных, как табуретки,беленькие старички и старушки продавали какую-то чушь бумажную, ширпотребные открытки и клеенки.

"Чрево Парижа" закрыли и обнесли железными сетями.Париж перекрасили, и он стоял, как новенький, и Нотр-Дам, и остальное, - отлакированный, игрушечный.

На бензоколонках ЭССО появилась новая реклама, точнее,портрет неизвестной девушки с бешеными волосами, вьющимися, неземной красоты. На многих магазинах меняли рекламы, подражая советскому стилю: покупайте галоши, - и всё, без характеристики качеств товаров. Цена за галошу 5 франков. Думай, что хочешь, - не без оригинальности.

Вошли в моду старинные примитивные портреты (семейные).Чем хуже художник - тем ценнее, лишь бы у портрета была древность. Можно было выбирать себе по вкусу прабабушек и прадедушек и уже "фамильный" портрет вешать на стенку. Особенно ценилась такая живопись в квартирах левой профессуры.

Еще один тип рекламы: в витрине магазина, торгующего бриллиантами, на золотобриллиантовых диадемах, коронах, скипетрах,

браслетах, перстнях лежал страшный клошар. Он был завернут в целлофан по горло, так что из этого чехла торчали только кисти рук с грязными, изломанными, окровавленными ногтями, развороченными, как танковая броня, и небритая морда (о не лицо!) с редкими, но твердыми, как сталь, волосами, вывороченные окровавленные веки и в одном глазу под веком - линза.

Профессор Леон Робель переженился на советской студентке в Москве. Его жена сошла с ума. Его дочери было шестнадцать лет. Вдруг дочь пропала. Ее искала вся полиция ООН. Полгода никаких сведений не поступало. Потом пришла телеграмма из психиатрической лечебницы в Швейцарии. Вот что произошло.

6 юношей, революционеров, бунтарей, борцов с буржуазностью и обывательской нравственностью, 6 близких друзей девушки, отправились в Индию к гробнице Тадж-Махал, чтобы очиститься от скверны Запада. Посредством рождения общего ребенка. Сего младенца, как искупителя и грядущего святого, они собирались оставить в храме, а самим возвратиться очищенными от всяких посторонних бдений бытия. В качестве будущей богоматери они взяли с собой подружку и все по очереди (потом оказалось, что для очередности у них не хватило терпения и они довольно-таки беспорядочно) жили с ней. Они все семеро пошли босиком и курили марихуану. Но проклятое европейское воспитание всё же сыграло свою роль: чтобы не подохнуть в пути, они украли у родителей драгоценности.

Девушка забеременела где-то в Италии (а шли они, нужно отдать должное, действительно пешком).

Поскольку весь сексуальный опыт у юношей был - лишь мертвые книжные знания романтики и поверхностное знакомство с порнографией, то они беременную девушку, не зная сами, что делают, сильно травмировали. Она истекала кровью.

Посовещавшись и поняв, что святого младенца все равно не предвидится, а их поход в самое ближайшее время превратится в камеру одиночного заключения, революционеры нравственности и морали бросили девушку где-то в горах и разбежались кто куда. Она доползла до какого-то селения, осталась жива, но,по неопытности, во всем чистосердечно призналась. Суд - был. Скандал в ООН. В ЮНЕСКО. Но результаты не играют никакой роли. Девушке уже не выйти из психиатрической лечебницы.

В русской консерватории состоялось торжественное заседание, посвященное 80-летию Пастернака.

Было: человек 70, серых, мышиных, монашьих, средненько одетых, пергаментных, луковичных каких-то головок, лысых, в париках, плохо покрашенных. Влиятельных п е р с о н - не было. Молодых - не было. Думается, все присутствующие - русские от лет семидесяти. Пять француженок, так и сидели пятеркой. Зал крошечный, стулья простые, шаткие, сцена совсем не освещена,на сцене дощатой стол,как в колхозе, - президиум.

Председатель - Зайцев. Вейдле, Адамович, Окутюрье.

Зайцев говорил вообще о Пастернаке. Стоял. Что-то вспоминал. Очень поношенный костюм, галстук без цвета, истощенное бритое старое-старое лицо в мерзлых морщинах.

Вейдле вычитывал цитаты из бумаг, сидя, бормотал иронически и "на зал", с фельетонным остроумием: Пастернак - такой же приспособленец, как и все остальные советские писатели, диалектический материалист и атеист, он специально завязал связи с Грузией, чтобы польстить национальности Сталина,он переводил с грузинским акцентом, он посылал Сталину поздравительные телеграммы, предал Мандельштама, а вечерами на своей фешенебельной даче в Переделкино играл на пластинках "Сулико",собственно,как творческая личность Пастернак умер уже в тридцать седьмом году и только переводил пьесы незапрещенных драматургов, таких как, к примеру, Шекспир, чтобы пропитаться, не попасть в советские концентрационные лагеря, Нобелевскую премию он получил по чисто политическим причинам, потому что как раз тогда Шолохов покупал себе Нобелевскую премию ценой советских финансовых договоров на товары со Швецией, а роман "Доктор Живаго" уж никак не тянет на Нобеля, - это слабенький парафраз Толстого Льва на советскую патриотическую тему.

Адамович указал на ряд промахов стилистики в "Докторе Живаго", попутно отметил в положительном смысле свой перевод Камю на русский язык, Адамович стар и полуслеп, но ходит без очков и без палки, больное холеное лицо, непроницаемое, волосинки расчесаны на пробор.

Потом говорил Окутюрье. Он жил в СССР и учился, его мать чешка, моложавый, молодой, румяный, рыжеватый, курносый, круглолицый, он говорил на более чистом и современном русском языке о том, что Пастернак - прежде всего поэт и никакой не нобелиат, как нельзя же присвоить премию, скажем, птице, она все равно премии - не поймет, а будет петь и петь, - и ничего больше.

Уже потом луковичные головки и плохо покрашенные парики окружили Окутюрье, комплименты, все пили оранжад, и еще там были бутербродики типа вафель размером с мизинец, никто не верил, что Окутюрье - профессор русской литературы в Лозанне, все так и решили, что он инкогнито, гость из Москвы или же рука Кремля.

Я подошел к Адамовичу и представился. Он, не глядя - вежливая высокомерность - сказал, что слышал и читал и нравится,да и встречались пять лет назад в Париже, и спросил вдруг:

- А вы - уже эмигрант?

- Нет, что вы, - простодушно ответил я.

- А, - оживился он, - тогда до свиданья,дорогой Виктор Александрович, всего вам наилучшего и здесь и т а м.

Через две недели умерла Эльза Юрьевна Триоле.

Накануне мы ужинали у Клода Фриу, было пятеро: Арагон,Триоле, Фриу, его жена Ира и я. Я читал "Пьяного ангела". Там были стихотворения католические, и Эльза четыре раза просила меня повторить "месть за смерть. Если это месть - мстите, Господи, я - готов". Арагон засыпал. Было больше двух часов ночи, Эльзе стало плохо, я заторопился, и, действительно, меня буквально под окнами ожидал польский писатель-эмигрант Петр Равич, Эльза просила остаться, я сказал:

- До свиданья.

- Ну нет, - запротестовала она, - давайте: прощайте.Так точнее.

- Что вы, Эльза Юрьевна, при чем прощанья?

- А вот увидите и вспомните утром.

Утром она умерла. Арагон сказал, что так же, как описала смерть своей героини в последнем романе "Соловей умирает на рассвете".

На следующее утро прилетела из Москвы Лиля Юрьевна Брик,она была неестественно оживлена, она не хотела никого огорчать своим горем, мужественная женщина мира, оклеветанная четырьмя поколениями журналистов и всеобщего хамства.

И только на кладбище, когда, по обычаю, самые близкие выражали свое сочувствие семье, она обняла меня и зарыдала:

- Ах дорогой ты мой, они гроб заколотили, я Эльзу так и не видела!

Впервые за много-много лет знакомства она сказала мне "ты" и в будущем - никогда.

Гроб заколотили. Была гражданская панихида.

Сколько людей у здания "Юманите"! Мне предложили выступить, но, в общем-то, мрачновато выступать между Марше и Нерудой,один - мне неизвестен, да и Эльзе, я думаю, известен был понаслышке, а второй - так нескромен в оценках собственной персоны.

Впервые на похоронах Эльзы я видел членов ЦК компартии Франции и был искренне изумлен: где, ценой каких усилий и затрат, они ухитрились сшить себе такие бесцветные костюмы-двойники и так постричься, - по московской системе?

Что ж, резонировать? Составленный здесь мной список - "не в ногу", но и вообще-то списки составляют только в тюрьмах.

ПЕСНЬ МОЯ

Ой в феврале
тризна транспорта, фары аллей.

В Летнем саду
снег у статуй чуть-чуть зализал срамоту.

Дебри добра:
в шоколадных усах у школ детвора.

Толпы Цирцей
сочетаются кольцами в бракодворце.

Девушки форм
любят в будках под буквами "телефон".

Как эхолот
шевелящий усами эпох полицейский-илот.

Солнце-Дамокл.
Альпинистские стекла домов.

Мерзкий мороз
моросит над гробницей метро.

Тумбы аллей
в краснобелых тельняшках - опять юбилей.

Бей сердце бей
в барабан безвоздушных скорбей.

Плачь сердце плачь,
всех смятений сумятицу переиначь.

Пой сердце пой!
Ты на троне тюрьмы. Бог - с тобой.

Ой в феврале
вопли воронов, колокола кораблей.

Худо дела:
чью там душу клюют, по ком - колокола?

ЛЕТНИЙ САД НОЧЬЮ

Деревья проще, чем люди:
хотят не хотят - не ходят.
О чем они мечтают? -
ни вопля, ни шепотка.
В лунном литье водянистом
они - старые спруты,
смотрите и смиритесь:
лишь игрища игл с листвой.
А в деревянных будках
(на них бы мелом 00)
статуи спят стоя,
как в саркофагах.
А в колпаках стеклянных
одна - карандаш в пенале,
одна - головастик
в экспериментальной банке,
одна, как милиционер, -
голубая,
а в общем, им всем напялили
не колпаки стекла, -
на голову презервативы.
Кто был здесь? О было - сплыло.
Их нет. И грустить - глупо.
Ибо уже не будет.
Теперь у Летнего сада
вся земля в зеркалах
мерзлых. Замки закрыты.
Это не сад деревьев -

тюрьма воспоминаний,
решетки - колы для голов.
Где:
в зеркалах-могилах
каждый свое отжил,
вот - отсверкалась шпага,
.отвеселился стих.
Утром растает солнце,
голубь беременной блядью
сядет на злато стали,
окапает воск веков.
Воин с рукой медузы
бегом бегом с гауптвахты.
Люди с вставными глазами
трудящимися шагами
в блестящих лаптях - в цеха.
Чиновник уйдет в чудесный
свой кабинет из древа.
Профессор университета
лекцию о ...
....
Пока еще сад не летний,
а просто Летний сад ночью,
и голосом бедной Лизы
лебедь поет поет.

ВОРОНА

И красными молекулами глаз
грустны, грустны, взволнованы за нас

вороны в парке (в нем из белых роз
валетики из влаги и волос).

И вот ворона бросилась. И вот
я все стоял. Она схватила в рот

билетик театральный (как душа
у ног моих он был, - дышал дрожал,

использованный). И остался снег.
Спектакля нет. Вороны нет.

В 1973 году известному поэту Викторе Сосноре исполнилось 37 лет. Возраст некоторых итогов, по традиции, для каждого русского поэта. Соснора живет в Ленинграде. Кроме стихов, он пишет и прозу, которая никогда не печаталась в СССР. Рукописи Сосноры пришли из самиздата и печатаются без ведома автора. Редакторы надеются, что упомянутые автором лица не сочтут себя обиженными - способ видения характеризует прежде всего самого пишущего.

ПЕСНИ ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО

о песнях глеба горбовского

Мы публикуем здесь несколько песен ленинградского поэта Глеба Горбовского, сочиненных им еще в 50-е годы. Блестящее чутье песенно-народного стиля, фольклорного юмора сделало их чрезвычайно популярными, и за эти двадцать с лишним лет они разошлись и поются по всей стране.В те времена Горбовский не был еще признанным и печатающимся поэтом. Он был рабочим у геологов, и первыми слушателями его были охочие до песен братья-геологи, которые распевали их повсюду, даже и не припомнив, где в первый раз их слышали. Народная стихия поглотила их, впитала в себя,сделав частью своего песенного достояния. Варясь в этом котле, тексты их видоизменялись, появлялись варианты, весьма далекие от авторских.

Этой публикацией мы хотим вернуть песням авторство и восстановить, насколько возможно, варианты первоисточника. В конце 50-х - начале 60-х годов мы с Глебом были ближайшими соседями в Ленинграде. Редкий день мы не видели друг друга, и, естественно, ни одна встреча не обходилась без стихов и песен. И вот теперь, полагаясь на свою память, я записал эти тексты Глеба, Горба, как звали его мы, друзья. Я очень надеюсь, что Горб, буде до него дойдет этот номер, не найдет эту мою работу недобросовестной, а наши читатели по достоинству оценят эти маленькие шедевры.

А.Хвостенко

фонарики

Когда качаются фонарики ночные
И темной улицей опасно вам ходить,
Я из пивной иду, я никого не жду,
Я никого уже не в силах полюбить.

Мне лярва ноги целовала, как шальная,
Одна вдова со мной пропила отчий дом.
А мой нахальный смех всегда имел успех.
Так пролетела моя юность кувырком.

Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот, в окно, теперь мне все равно,
Я сам себя уже не в силах полюбить.

Когда качаются фонарики ночные
И черный кот бежит по улицам, как черт,
Я из пивной иду, я никого не жду,
Я навсегда побил свой жизненный рекорд.

На Садовой улице

На Садовой улице в магазине шляп
Потерял я голову из-за этих баб.
Головы их, головы, груди и носы,
Потерял я голову из-за их красы.
   Ах вы, груди, груди, груди,
   Носят женские вас люди,
   Бабы носят нытики,
   Девки-паралитики.

А под одеянием, скажем, под трико
То-то ароматище, то-то велико.
Сколько вас, поганого семя, развелось,
Повстречал я женщину, пьяную насквозь.
   Ах вы, груди, груди, груди,
   Носят женские вас люди,
   Бабы носят нытики,
   Девки-паралитики.

Беру ее на руки, приношу в свой быт,
А она ругается на чем свет стоит.
Разлеглась, паскудина, на диван-тахте.
Чего ты прикасаешься, говорит, к моей красоте.
   Ах вы, груди, груди, груди,
   Носят женские вас люди,
   Бабы носят нытики,
   Девки-паралитики.

Беру ее на руки, выношу во двор.
А она ругается там до этих пор.
Из носу зеленая тянется сопля.
Разлеглася, мозгами еле шевеля.
   Ах вы, груди, груди, груди,
   Носят женские вас люди,

Бабы носят нытики,
Девки-паралитики.

На Садовой улице в магазине шляп
Потерял я голову из-за этих баб.
Головы их, головы, груди и носы,
Потерял я голову из-за их красы.

x x x

Полегоньку, потихоньку
Полюбил я девку Соньку.

Заглянул в ее сердечко,
Колупнул ее нутро -
Немудрящий человечко
Был устроен нехитро.

Наливаю Соньке чаю,
Чаевые получаю.

Запрокинул на кушетку,
Примостился кое-как.
Вызывайте акушерку.
Подымайте белый флаг.

Полегоньку, потихоньку,
До свиданья, не взыщи.
До свиданья, девка Сонька!
Выводи свои прыщи.

смерть ювелира

Он вез директора из треста
На волге цвета изумруд.
Не суждено было до места
Доехать тем, кого везут.

На самом резком повороте
Хватил шофера паралич.
В предсмертной жалобной икоте
Упал на руль шофер Кузмич.

Машина вырвалась под гору.
Нога шофера на газу.
Он позабыл про светофоры -
А был он ни в одном глазу.

Директор делал выкрутасы,
Баранку рвал у мертвеца.

Но ни одна на свете трасса
Ведь не бывает без конца.

Она кончалась магазином,
Где ювелир, как изумруд,
Стоял, роскошный рот разинув.
Сказал: "Сейчас меня убьют".

Вот так убили ювелира.
Убил его мертвяк-шофер.
И поэтическая лира
На этом кончит разговор.

В ВАТИКАНЕ

В Ватикане идет мелкий дождичек,
Моросит на священный асфальт.
Папа римский отужинал с водочкой
И глядит в заоконную даль.

На востоке, в Москве уже ноченька.
Спать легли атеисты в кровать.
Папа римский сосредоточенно
Начинает в душе проклинать.

Не нужны вам мои индульгенции
И просвирки мои не нужны.
Всех греховнее интеллигенция,
И тем паче советской страны.

В Ватикане идет мелкий дождичек,
Моросит на священный асфальт.
Папа римский отужинал с водочкой
И глядит в заоконную даль.

ХУДОЖНИКИ

На диване, на скрипучем на диване
Мы лежим, художники.
У меня, у меня да и у Вани
Протянулись ноженьки.

В животе, в животе снуют пельмени,
Как шары бильярдные.
Дайте нам, дайте нам хоть рваных денег,
Будем благодарные.

Мы б буты - мы б бутылочку б по попе
Хлопнули б ладошкою.
Мы бы дрыг - мы бы дрыгнули б в галопе
Протянутой ножкою.

Закадри - закадрили бы в кино мы
По красивой самочке.
Мы лежим, мы лежим, малютки-гномы,
На диване в ямочке.

Уменьша - уменьшаемся в размерах
От недоедания.
Жрут сосе - жрут соседи-гулливеры
Жирное питание.

На диване, на скрипучем на диване
Тишина раздалася.
У меня, у меня да и у Вани
Жизня оборвалася.

ж ж ж

Торговала ты водой газированной.
Был мужик он молодой, образованный.

Он окончил факультет филологический,
Наградил тебя болезнью венерической.

Наградил тебя сполна под завязочку,
Чтоб носила на носу ты повязочку,

Чтобы помнила всегда землю русскую,
Говорила чтобы в нос, по-французскому.

И сидишь ты под замком, затворившись.
Нос не кажешь, так как он отвалившись.

У заведенья пиво-воды

У заведенья пиво-воды
Стоял непьяный постовой.
Он вышел родом из народа,
Что говорится, парень свой.

Ему хотелось очень выпить.
Ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
И глаз за глазом погасить.

Однажды ночью он сменился,
Купил полбанки коньяку
И возносился, возносился
До потемнения в мозгу.

Потом он выпил на дежурстве
И лейтенанта подтолкнул.
И снилось Пиво, снились Воды
Как в этих водах он тонул.

Деревня древняя Ольховка
Ему приснилась в эту ночь,
Сметана, яйца и морковка
И председателева дочь.

Из заведенья пиво-воды
Шагнул непьяный человек.
Он вышел тоже из народа.
Но вышел и упал на снег.

Эдуард ЛИМОНОВ

СЕКРЕТНАЯ ТЕТРАДЬ, или ДНЕВНИК НЕУДАЧНИКА

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

To losers

Из Британской энциклопедии

"Среди других народов поселяются обычно неудачники.Великое и отважное племя неудачников разбросано по всему миру. В англоязычных странах их обычно называют "л у з е р" , то есть потерявший. Это племя куда многочисленнее, чем евреи, и не менее предприимчиво и отважно. Не занимать им и терпения, порой целую жизнь питаются они одними надеждами...

Следует отметить одну характерную особенность - мужчины и женщины этого племени, добившись успеха, с легкостью отрекаются от своих, перенимают нравы и обычаи народа,среди которого к ним пришел успех, и уже ничто не напоминает о том, что некогда принадлежали они к славному племени неудачников..."

xxxxxx

В туманные весенние дни наш Нью-Йорк необыкновенно прекрасен для одинокого человека.

В таком тумане хорошо искать тюльпаны на вершинах небоскребов, мило и одиноко перелетая с крыши на крышу на домосделанных шелковых крыльях.

xxxxxx

Посещение этого сумасшедшего стоило мне крови. Он оказался толстым - с животом и ляжками. Полупарализованный ездил по светлой студии в кресле.

Характерной чертой его безумия была измельченность сознания. Он заставлял меня поднимать и опускать слои писем и рисунков на его столе (желтых и покрытых пылью), по-полицейски следя за тем, чтобы порядок (хаос) их положения не был нарушен. Один раз мне пришлось дотронуться по его требованию до 26 бумажек,прежде чем он удовлетворился и получил нужный розовый клочек. Впрочем, он тотчас приказал мне положить его обратно.

Из других подвигов сумасшедшего - он надевал мои очки и пытался подарить мне свою телефонную книжку.

Сумасшедший был очень сентиментален - он постоянно вспоминал своих многочисленных жен - выходило, что все упоминаемые мной или им женщины были его жены.

Многие рисунки сумасшедшего (он рисовал) были мазней и хаосом, но некоторые - особенно желто-зеленый портрет с двоящимся лицом и рождение Венеры из морской пены - поражали своей нервной силой.

Я едва выдержал два часа с этим сумасшедшим. Именно с этим. Мне показалось, что он чем-то похож на меня. Других я переносил спокойно. Цель моего визита: я приносил ему щи - сумасшедший был сыном русских родителей.

хххххх

Японский ресторан хорош осенью - в промозглую погоду - горячие салфетки - подогретое саке. Когда дует норд-вест. И особенно хорош он перед покушением на жизнь премьер-министра,на последние деньги, в свистящем ноябре.

хххххх

Роскошное летнее утро над Ист-Ривер. Я, сидящий на скамеечке в миллионерском саду, которому завидует молодой итальянец,дорожный рабочий, глядящий в недоступный сад через высокую решетку. Вот, думает, - сидит богатый парень и кофе на солнышке пьет. Ишь ты, думает, падла - рано поднялся, в восемь часов утра на воду смотрит.

А я-то не по праву сижу в миллионерском саду. Не по праву незаработанное кофе пью, на чужую траву босые ноги поставил,изредка тела рядом сидящей девушки двадцати одного года касаюсь. Приблудный писатель, непутевый иностранец - клиент ФБР, с опасными идеями поэт. Любовник миллионеровой экономки.

хххххх

Сука я. И грустно мне, что я сука и никого уже не люблю. И не оправдание это, что любил. Курю и думаю упорно: "Сука, сука, точно, что сука". И гляжу грустно в окно на почти итальянские облака над небоскребами. Кажется, кучевыми называются.

xxxxxx

Я люблю, что я авантюрист. Это меня часто спасает. Вдруг дождь, и мне тошно и бедно, и плакать хочется, так подумаю: "Хэй, ведь ты же авантюрист, мало ли что бывает. Держись, мальчик, сам себе эту дорогу выбрал, не хотел жизнью нормальных людей жить - терпи теперь".

Тут и подправишься, кому-то позвонишь, овечкой притворишься, обманешь, глядишь - через пару часов уже в высшем обществе расхаживаешь, со знаменитыми людьми беседуешь, красивых женщин за руки хватаешь, проникновенным голосом чепуху говоришь. Слово за слово - бывает, утро в богатой постели встретишь, первые лучи сквозь занавески лицо щекочут, кофе тебе в постель несут. "А я водки хочу", - говоришь. Невероятно, но и водку несут. Кривишься, но пьешь - просил ведь. Я люблю, что я авантюрист.

xxxxxx

Если вы сидите в мае в саду и плачете - это невероятно хорошо. Это кто-нибудь близкий умер, и вы жалеете.

И вышла незагорелая полная родственница в темном платье, и припухли глаза от слез. И вы берете ее за белую руку - приближаете,обнимаете и говорите: "Салли, родная; как горько, какая потеря!" И обнявшись - вы заливаетесь слезами.

А сквозь горе, от соприкосновения тел такое уже жуткое пробивается желание. И стыдное, и запретное, и неуместное. И она чувствует то же. А особенно, если это покойного жена.

И закрыв глаза, с головой - оба в эту бездну. И гроб с покойным со свистом ввинчивается в небо. Удаляется.

xxxxxx

И летняя гражданская война.

В городе, горячем, как сон.

И руководитель восстания, полу-латиноамериканец, полу-русский - Виктор, и Рита - женщина с прямыми волосами, и голубоволосый гомосексуалист Кэндал - все пришли утром в мою комнату и стали у дверей, и Виктор угрожает мне дулом автомата за то, что я предал дело мировой революции из-за тоненьких паучьих ручек пятнадцатилетней дочки президента Альберти - Селестины, ради ее розовых платьев и морских улыбок, ради ее маленькой детской пипочки и вечнозащипанных мочек ушей, ради ежей в саду ее папы, ежей и улиток на заборе...

Все это привело меня к сегодняшнему утру, и лучший мой боевой товарищ и бывший любовник Виктор говорит вполголоса страшные слова, истеричный Кэндал в тоненьком пиджачке не смотрит, а стремительное лицо Риты...

И долго плакала в постели маленькая Селестина,подрагивая голыми грудками, а отец ее - господин президент - уже входил с танковым корпусом в столицу, и дрожали преданные западные предместья, и товарищей расстреливали во дворах.

xxxxxx

Хочется написать о бархате и его тонах.

О дыме марихуаны, обо всех других дымах.

Об утренней лиловой траве - ее заметил шофер, который привез труп в усадьбу для "медицинских целей".

Хочется испытать ощущения Елены Козловой,после того как она изменила своему мужу Эдуарду Лимонову и шла домой по Нью-Йорку, и садилось в это время солнце.

Хочется ворваться в зал Метрополитен-опера во время премьеры нового балета и расстрелять разбриллиантенных зрителей из хорошего новенького армейского пулемета. А что делать - хочется.

Ну, я подавляю - подавляю их - желания. Не очень-то получается.

xxxxxx

Медсестра сидела в углу.

Поль стоял у окна - улыбался.

Жан стоял у двери - улыбался.

Пьер стоял у стены - улыбался.

Медсестре стало страшно от их улыбок.

Двенадцатый муниципальный госпиталь в городе Арле открывается для приема посетителей в шесть часов утра. Больным приходят в голову странные фантазии - Общий Генеральный Совет Больных, их профсоюзное начальство проголосовало единогласно,и госпиталь открывается включением во дворе фонтана, даже зимой, в шесть часов утра. В двери входят ранние посетители - их не изобразишь словами. Следует видеть их лица - выражения этих лиц.

xxxxxx

Пойдем в храм. Прокрадемся. Свечи зажжем. И согрешим. Не то что я там лягу на тебя или что другое, а сделаем дешево и порочно, как в порножурналах. Ты станешь, положив руки и склонив лицо и плечи на кафедру, а я откину твое черное пальто - белый твой круп обнажится, от вида этой стареющей влажной белизны я совсем закачу глаза, ты присядешь, и мы с некоторыми усилиями поместим член в колодец и поплывем. И сопровождать нас будут мягкие пассаты,и взоры нашего Бога, и вся внутренняя каменная и деревянная пахучая красота... И охи и вздохи и свечек блистанье и где-то в закоулках ощущение - Это елка, это Новый год,это детство, и мама приготовила сладкие пирожки. И ты их ешь, и тепло желудку. И это их ешь ты в последний раз.

xxxxxx

Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень.

Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселил-

ся - четвертый день живешь в грязном отеле, один,уже второй год без любви. И 25 центов на телефонные звонки. А еще грустнее,когда тонко-тонко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда...

Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава - эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало.

xxxxxx

Хорошо в мае, в замечательном влажном мае быть председателем Всероссийский Чрезвычайной Комиссии в городе Одессе, стоять в кожаной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и вдыхать одуряющие запахи.

А потом вернуться в глубину комнаты - кашляя,закурить и приступить к допросу княгини Н, глубоко замешанной в контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красотой двадцатидвухлетней княгини.

xxxxxx

Огородики Нижнего Ист-Сайда. Репа и морковь.

В Гарлеме зацветает чеснок.

На Пятом авеню роняет свои плоды на землю помойное дерево.

Ветер трясет золотые заболоченные бамбуковые рощи Вест-Вилледжа. Поют птицы. Летают стрекозы.

Мистер Смиф и мистер Джонсон шагают по размытому левому берегу Бродвея в резиновых охотничьих сапогах. Время от времени Смиф вскидывает ружье и стреляет в выпархивающую из зарослей утку.

Самое оживленное место - где еще сохранилась табличка "Вест 49 улица",- в этом месте единственная переправа через Бродвей. В развалинах на берегу меняют дичь на кофе и сахар, пушнину на кости и рыбу и продают одежду, в которой большая нужда.

Апрель. Хорошо. Воздух-то какой. Наконец можно согреться. Обитатели некогда Великого города почесываясь греются на солнце.

xxxxxx

А.М.

Я помню какие-то имена.

Особенно Манфред и Зигфрид.

Я не знаю, откуда они пришли, но они есть во мне - эти имена.

Манфред сидит на берегу - Зигфрид купается в озере.

- Красивые белые кувшинки, - говорит Манфред.

- Я не знаю, куда плыть! - кричит Зигфрид.

- Плыви на мой голос! - кричит Манфред.

Зигфрид выходит из воды. Манфред набрасывает на него какую-то ткань и его вытирает. Вытирая, он и целует его одновременно. Спускаясь с поцелуями по чистой коже Зигфрида, на полурасстоянии от земли он находит нечто. Губы его останавливаются в этом месте.

Музыка леса сопровождает затянувшееся свидание.

Что бы они потом ни надели - какие бы наряды.

Подадут ли карету, или сядут в автомобиль.

Я люблю вечернее небо. Сужающийся летний вечер. Тихую тоску собственной прошедшей юности.

И неожиданно вас - мой милый друг,
мой бледный цветочный танцующий друг.

xxxxxx

Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин,я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут,не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху - бывшую красавицу, прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:

- Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего. Ну,пусть так, ну что делать! Успокойся! Маленькая моя...

xxxxxx

Я люблю черный перец, духи и ликеры и запах маленьких экстремистских газет, которые призывают разрушать и ничего не строить.

В настоящее время я влюблен в молодого Z.

Я познакомился с ним на одном немноголюдном собрании.Он носит английскую шляпу, пару лет как приехал из Англии, он беден и очень красив. Он талантлив и пишет статьи, как поэт. Одно его место, где улитка ползет по рукаву и бабочка села на шею мертвого герильера, я запомнил и повторяю: "улитка ползет, и бабочка села", и нос у мертвого в цветочной пыльце.

В меня же влюблен фотограф. Как-то утром, уже на рассвете, после ночи в большой дискотеке я сказал,что не хочу с ним ебаться, что я вздорный и очень капризный, и вообще перешел на женщин (что было отчасти правдой), и очень желаю спать.

Если вы в кого-то влюблены, то как вы можете ебаться с другими. А вот фотография с меня в его туманном декадентском стиле мне нужна.

xxxxxx

Весть о приеме в саду этой знатной дамы докатилась и до меня - одинокого. Через газету.

Там были те, кто не по праву владеет:

Красивые женщины, вышедшие в свое время замуж за бессильных уродов и щеголяющие теперь их титулом и деньгами.

Старики из искусства, пережившие своих куда более талантливых сотоварищей и потому считающиеся гениями сегодняшнего дня - заслуга их в долголетии.

Финансисты и бизнесмены, получившие от отцов по нескольку миллионов, а заставь их жизнь начать с грязного отеля - завтра умрут от голода и бессилия...

В общем, там были все, кого я ненавидел.

xxxxxx

ПАСТОРАЛЬ

М.Н.Изергиной

Из Бранденбурга красивая летняя дорога, по сторонам которой пышно разбросаны буковые деревья и платаны, ведет вас к Ораниенбургу, а там, глядишь - недалеко и сонный город Винненбург.

За большими сонными озерами на окраине Винненбурга расположена долина с удивительными, нигде на свете больше не встречающимися сортами винограда "голубой бархат" и "Розали". У юго-восточного - единственного доступного автомобилю - выхода из долины и находится гостиница "Приют для чудаков", которой хозяйка, фрау Мария, удивительно похожа на мадам Рекамье. "Вся жизнь - шутка", - часто любит повторять она в дождливую погоду, после чего с удовольствием исполняет известный старинный романс "Гори, гори, моя звезда".

Кто мог ожидать этого - однако студент Савицки и еврейская девица Клейншток одновременно покончили с собой в прошлую пятницу - прошли через долину, напевая песни, и утопились в прудах - я имею в виду озёра.

xxxxxx

Ох, еврейские девочки, еврейские девочки...

Энергичные и любопытные, пышноволосые, мягко, по-восточному романтичные, они рано покидают родительский дом. Они отважно выходят в мир, вооруженные диафрагмами, противозачаточными таблетками и книжкой о диетическом питании. Восторженные,носатенькие, поблескивая коричневыми глазками, они первые во всяком движении, то ли это женское освобождение, или социализм, или терроризм.

Они первые бегут покупать новую книгу поэта, и вы найдете их обмирающие глаза, если взглянете в зал во время выступления любой рок-группы или исполнения классической музыки. Они учатся балету и фотографии, они самостоятельны и упрямы. Часто действительно развратные и очень сексуальные, они умеют смирять себя ради долга или семьи. Среди них можно найти редкие и тонкие цветы необыкновенной красоты - такие становятся куртизанками.

Сколько ни изводили еврейских девочек Освенцимами и прочими сильнодействующими средствами, а они всё бегут по улицам городов мирового значения, всё глядят на вас влажно из-под руки в автобусе, всё дают вам - славянские и других народов юноши - свое тело.

xxxxxx

Я нарисовал женщину и поставил между ее ног крест.Я рисовал бессознательно, но в ее сторону были направлены все стрелы.Стена гадких темно-синих стрел была грозно нацелена в голую, беспомощно разведшую руки женщину с крестом между ног. Вместо головы у женщины было колесо - грустное колесо.

Ужас и террор наполняли лист. Так я рисовал бессознательно темным синим цветом автоматической ручкой, в то время как говорил по телефону оживленно и не без веселости с одной из моих подруг.

К стене стрел в самом низу я почему-то пририсовал одинокий кран, а из него падали две капли. Непристойный кран с вентилем.

xxxxxx

Нервный палеонтолог, специалист по ихтиозаврам, не прощаясь ушел по-английски из подвальной квартиры в Гринич-Вилледж с большого и смутного парти. Я уходил тоже, мы прошли с ним один квартал вместе, и вот что он говорил:

"Я люблю такую рыбину, чтоб в пасть ее можно было войти не сгибаясь и идти по желудку, как по коридору министерства иностранных дел.

Чтобы, если вы идете с дамой, не было бы неудобств и не пришлось бы хвататься за стены. Просторность - это мое первое требование к рыбе."

С последними словами палеонтолог вскочил в подъехавшее такси и умчался от меня навсегда.

xxxxxx

ученье

Я затаился, в секрет ушел. Учусь. Сижу на кухне в миллионерском домике - прислугин друг и любовник, кто там меня замечает, жду моих времен, когда мой 1917 год грянет. А до тех пор комнаты помою, иной раз дверь покрашу, где шуруп ввинчу, юбку сошью, брюки переделаю - подкармливаюсь.

Жена лорда - гостья из Лондона - вчера мне комплимент сделала: "Какие у вас сапоги красивые". Хотел я в ответ сказать: "Какая у вас рожа ничтожная. И у вашей королевы тоже", - но смолчал. Не буду, думаю, зря обижать. Что она обо мне знает.

Приятель же этой леди или любовник, архитектор знаменитый, проходя через кухню за очередным дринком, мельком взглянул на мои руки и в восторг пришел: "У вас руки творческой личности", - произнес. Тут уж я не мог отказать себе в удовольствии и с осторожным, понятным только мне ехидством сказал: "Может быть, разрушительной личности, кто знает?"

Так я хожу среди врагов, учусь, молча тихо в уголке сижу, рот особенно не открываю, слушаю больше, жду, когда в силу войду. Вот тогда поговорим. Ученье у меня сейчас.

А у леди из Лондона даже свой слон есть. Я фото видел - она на слоне сидит. В Лондоне.

xxxxxx

С Лысой певицей пошли на "Эс Энд Эм" собрание, она пригласила, у нее в этой среде большие знакомства. Для непосвященных расшифровываю - "садистов и мазихистов собрание". Говорили вна-

чале в огромном красном лофте о финансах и членских взносах. А потом была первая лекция для новичков, как бы "введение в садизм" (в мазохизм обещали в другой раз). Один крепкий парень спустил штаны и лег задом вверх на колени толстой блондинке,которая демонстрировала всякие приспособления, при помощи которых зад парня положено обработать садистски - плеточки, стегалочки многохвостные, какую-то щекотальную плетку типа лошадиного хвоста, ракетку для битья по заднице (вернее, "это" только имело форму ракетки); "Очень пугающий у нее звук", - удовлетворенно отметила хорошо говорящая блондинка. Объясняя, блондинка, обворожительно улыбаясь, стегала парня.

После пяти минут перерыва девушка со злым мечтательным лицом подвесила другого парня с влажной дымчатой бородкой и белым телом к специальному брусу у потолка цепями и кожаными браслетами за руки и стала его бить и щекотать все теми же приспособлениями и целовать губами в губы тоже. Парню оставили только трусики, но потом, когда перевернули его задом к публике, сняли и трусики. Парень дрожал, кажется, по-настоящему.

Садисты и мазохисты мне понравились, несмотря на некоторую их заброшенность, особенно седые строгие мужчины в тонких очках из отдела "бандаж и дисциплина". Вообще, большинство садистов-мужчин носило очки.

Ко мне и Лысой певице эсэндэмовцы отнеслись хорошо, ибо черный мужик лет сорока пяти, похожий на доктора, их глава, он же фотограф, был другом Лысой певицы. Периодически он уговаривает Лысую певицу примкнуть к его гарему, из которого в этот вечер я видел двух девочек. Одна - модель, стройная и совсем неплохая - была со мной особенно обходительна.

Позже у меня дома я выебал Лысую певицу, не применяя никаких особых методов. Просто хорошо и глубоко, со вкусом выебал, кончив на ее очень хорошую грудь.

xxxxxx

Мы расстреляли сестер, как полагается,на утренней заре.Трое моих друзей-хорватов и австриец из Шестого Интернационала,представитель итальянских ультра Кастелли, японец Иошимура и, как чрезвычайный уполномоченный Лиги Уничтожения - я.

Мы устроили расстрел в стиле начала двадцатого века. Мы выбрали усатого Божимира, и он зачитал приговор. Горные кусты уже раздирал край солнца, когда эти женщины упали в росистую траву. Мы стояли против них, как на всех классических картинах - цели мы разделили - на троих приходилась одна сестра.

Я не совсем сейчас уверен в необходимости смертного приговора, но может быть, нас обязывала суровая горная страна.Может, будь это в приморском городочке, где взвизгивает и брызжет вино и танцуют в кафе под пластинки, не было бы расстрела, а совершилось бы только насилие - и то, подозреваю, не в групповом смысле. Я, как представитель Лиги Уничтожения, всем этим товарищам главный ведь был.

Впрочем, до расстрела младшая сестра была приведена ко мне и была, лежа в белых тряпках, весьма хороша. Когда же я стрелял,

я целил ей в это место. Хотя и без того о моих странностях ходят слухи, но удержаться не мог.

хххххх

А на горах цвели гигантские цветы, которые были видны снизу из долины. А мы с ней были очень больны, в бинтах, оба после операций, и нас возили в колясочках в гости к друг другу,как неожиданно распорядился президент, читавший мои книги, оставляли на солнышке, и она шевелила губами, улыбаясь мне. И хоть охрана всегда стояла вокруг, мы были наконец счастливы, что теперь не сможем убежать друг от друга, и всё смотрели и не могли наглядеться. А после больницы нас ожидал непременный суд и настежь распахнутая смерть. А на горах цвели гигантские цветы и странно пахло желтое приморское солнце.

хххххх

родители

Противно все-таки иметь родителей, а?

Чепуха голая в письме от матери, не помогающая жить,но удушающая атмосфера, ноющие жалкие сведения о болезнях и душевных расстройствах, скушно-тоскливые чувства, неудовлетворенность и попусту растраченная жизнь глядит обнаженно из каждой строчки голым, без кожи лицом. Страх, старость преждевременная (еще с тридцати лет сознавали себя старыми!), отсутствие дела в жизни, не чужого, не службы, как у отца была - военная, а своего дела, в которое с головой и ногами и кожей ушел, и принадлежишь.И вот теперь все сосредоточилось на мне - кажется им, если бы я был там в той стране с ними, их жизнь была бы другой. Нет, не была бы, я бы их не спас. Кто виноват? Сами виноваты. Отец был ужасающе слаб - любил музыку, а был военным, не хватало решительности сделать шаг и уйти. Был одарен и технически, тоже не развил этого - стал тем, куда судьба его затолкала. Мать всю жизнь просидела дома, а ведь как любила бывать среди людей, театры любила. Так скушная жизнь день за днем прокатилась и оставила их один на один, как на пустом скалистом острове, и дует ветер, и холодно, и они прижались друг к другу да и греются, и кричат мне, который далеко-далеко, чтоб спас.

А мне их не жалко. И я счастлив, что Бог унес меня от них, от их старости, которую я все равно не стал бы греть, от их отчаянья, которому не поможешь.

Гадкий сын, да? Нет. Умный и потому безжалостный, сильный и грустный, я смотрю на них издалека и развожу руками. Ну что я могу сделать, если каждый в этой жизни один на один бьется с могущественным Роком. И горе тому, кто слаб.

Уже написав все это, я случайно взглянул на последнее письмо, которое они мне прислали - и, о ужас и подтверждение моих мыслей и чувств о них - марка, приклеенная к письму, оказалась репродукцией с картины Федотова: горбун стоял на коленях перед невестой. Точно. Из горбатой жизни пришло письмо.

xxxxxx

И я, не моргнув глазом, твердо принял сторону зла - ведьм, упырей, грешников, нацистов, чекистов, Равальяка, убившего Генриха IV, Освальда, убившего Кеннеди, Че Гевары и неудачников,никого не убивших, тех, кто всю жизнь до седой головы в швейцарской форме, почтительно склонив голову, стоит в дверях богатых домов и приветствует входящих и выходящих богатых старух и стариков и богатых детей. А внутри себя он все эти годы стоит,сцепив зубы, и что-то в нем растет, выпирает,и по временам он едва удерживается, чтобы не изнасиловать молоденькую долголягую Кристин - дочку известного нефтепромышленника, шестнадцати лет, которая весело живет с подружкой в огромной, занимающей весь этаж квартире и к которой часто ходят в гости мальчики и мужчины с воспаленными глазами.

Да, я принял сторону зла - маленьких газеток, сделанных на ксероксе листовок, движений и партий, которые не имеют никаких шансов. Никаких. Я люблю политические собрания, на которые приходят несколько человек, какофоническую злобную музыку неумелых музыкантов, у которых на лице написано, что они хронические неудачники. Играйте, играйте, милые... И я ненавижу симфонические оркестры, балет, я бы вырезал всех виолончелистов и скрипачей, если б когда пришел к власти...

xxxxxx

Когда видишь утварь умершего человека, то понимаешь,как глупо всё это заводить. Штуки и штучки, вещи и вещички, журналы и журнальчики - всё осталось, и многое вышвырнуто на улицу - пошло в мусор..

Самое ценное взяли наследники - а вот эти письма не взяли. Письма с расплывшимися словами. От любимой женщины. И только любопытный грустный парень вроде меня станет у открытого мешка с мусором и эту чужую золу перебирает.

А то еще брюки и пиджаки мне с одного аукциона, от мертвых оставшиеся, приносят задаром. И долго я над ними размышляю. Потом перешиваю, конечно.

xxxxxx

ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Часто внизу, напротив моего окна, у витрины магазина стоят два, а то и три полицейских и не то греются на мартовском солнышке, не то кого-то поджидают. Один из них беспрестанно выглядывает из-за угла в улицу. У меня желание, которое я не знаю, чем и объяснить, - бросить, уронить в них гранату или бомбу. Я думаю об этом безо всякой злости, как о чем-то само собой разумеющемся, примерно, как "есть вот полицейские, и их нужно устранить".

У меня нет ни бомбы, ни гранаты, ни снайперского ружья, которое в мыслях я изгоняю из возможного арсенала устранения полицейских: "найдут по траектории", - думаю я, а потом я хочу осуществить операцию сразу, я не хочу перестрелки.Потому я склоняюсь к тому, что лучше бомба.

Сегодня мне даже приснилось, что я бросил в них бомбу,но не из своего окна, а с крыши дома напротив, того, под которым они стоят. Может, их униформа моему желанию причина?

Недавно же толпа пьяных юношей не давала мне спать - топчась и оря на том же месте, где днем прежде топтались полицейские. Дело было к ночи. Их я возненавидел. Мерзкие прыщавцы, - думал я, выключив свет и глядя на них из темного окна сверху вниз, - хорошо бы вас всех по головам, по орущим глоткам полоснуть из пулемета свинцом, чтоб навек замолкли. К тому же, они пристают к прохожим, даже пожилым. Полицейские в сравнении с ними тихие ангелы. Может, это атавизм, и место под окном внизу я, как князь или доисторический человек, считаю своим. Или как кот, лев или собака. Мой участок охоты? А эти говнюки - наверное,студенты или рабочие или клерки, напившись, себя Бог знает кем воображали. Ишь ты - рыбьи головы! Шатались и ругались.

xxxxxx

Когда совсем нет денег и голодный - злоба на мир больше,когда чуть деньги есть - злоба меньше. От гордости и упрямства (не хотелось просить миллионерову экономку о деньгах или еде) я неделю питался то отвратительным куриным бульоном, то луковицей да картошкой. Я много спал эту неделю, выходя гулять, очень замерзал в мартовском воздухе, хотя и глотал перед выходом джин изприпрятанной на черный день бутыли. В таком состоянии вечерние горящие огни и молодые рабы-самцы, растрачивающие свои туго заработанные доллары на молодых рабынь-самок за стеклами маленьких ресторанчиков на Первом и Втором авеню, куда я выходил гулять (бесплатно, слава Богу), - вызывали во мне острую зависть.

Как-то, повстречав визгливо высыпавшую из ресторана компанию, я,зверски скособочив и напрягши черты лица, пошел прямо на них, на их лучшую девушку и насильственно разрезал их своим кожаным пальто, сжимая в кармане нож и готовый к кровавой драке, если усатые запротестуют. Ничего не случилось, хотя они и ругали меня вслед.

В один из таких вечеров - в субботний, когда было уже достаточно тепло, я неосознанно придумал себе новую муку - нашел у ресторана "Мартель" два чистых, но старых кресла и решил принести их домой. Для меня, вскормленного водянистым бульоном,кототорый я все время разбавлял, кресла оказались дико тяжелы. Перетащить каждое из них на мое Первое авеню был адов труд - я это понял, когда понес первое. Подвыпившие парочки и компании, вываливающиеся из ресторанов и дискотек, мешали мне идти - я выглядел нелепо, таща эти рваные кресла, разряженные в субботу девки смеялись, из кресел обильно сыпалась на меня желтая труха, все, кто попадался на дороге, были выше меня ростом, пот лил с меня, - так, наверное, чувствовал сябя в Риме маленький черно-

глазый раб-иудей, таща за сумасшедшим хозяином тяжелую кладь в какой-нибудь праздник сатурналий, но я сцепил зубы и донес кресло, с облегчением скрывшись в своем подъезде. Втащить его на пятый этаж уже не составляло труда - никто ведь не видел. Упрямый, я подверг себя экзекуции и во второй раз. Выжил.

По истечении недели я сдался и взял у миллионеровой экономки денег - купил кусок мяса и еще другой еды и, поев,сразу стал добрее.

хххххх

В холодном конце января в сумерки Нью-Йорк выглядит свинцовым. Свинцовый асфальт, такое же небо, которые дома совсем из свинца, которые частично. Особенно мрачен в такую погоду желтый цвет.

Страшен наш город наблюдающему его и живущему в нем. Прижмешься к радиатору и глядишь в окно, человеку свойственно бояться, но и выглядывать на ужасное. И вот я думаю: "И чего я здесь живу? Почему не уеду в леса и поля, в зеленое,круглый год теплое и веселое пространство - его возможно найти на земле.Чего я тут живу - вон ведь какой гадкий бурый дым поднимается от крыши соседнего здания. Черт его знает. Сегодня я этого не понимаю - фу, какая нечеловеческая мерзость за окном".

хххххх

Хороша ты, пуля. Отомстительна ты, пуля. Пуля, ты горяча.

Хорошо с близкого расстояния выстрелить в выпуклый дряблый живот президента Соединенных Штатов Америки, защищенный только фермерской клетчатой рубашкой, угодив как раз посередине двух широких спин, в духоте выставки достижений фермеров Айовы, где-то в районе гигантских початков кукурузы и быков,поливающих землю желтой струей, проделывающей в почве дыры. Побежать в направлении новеньких тракторов,вбежать в экспериментальный коттедж и захлопнуть дверь... И пока они лезут в двери и окна - выпрямиться на несгораемой крыше и пустить себе жаркую пулю в висок.Прощайте!

ИЗ ПОДПОЛЬЯ ЗВЕЗДЫ ВИДНО

Новая книга Лимонова

Российский читатель всегда был (и продолжает быть) склонен подозревать в рассказчике автора, всей его персоной. Когда прочтешь "Секретную тетрадь", начинаешь бояться за Лимонова: уж если редкий читатель не вменяет про себя старушку-процентщицу Достоевскому, то что же скажут о лимоновском неудачнике,к тому же сочиненном от первого лица? Хоть обращайся к читателю с просьбой не путать писателя и его персонаж.

А персонаж, встающий из лимоновского рассказа, существует, мы прекрасно его знаем, существует снизу доверху, там и здесь. Кажется, это первым записал Довлатов: у нас и государством правит капитан Лебядкин, возведенный в чин маршала. Неудачник Лимонова - случайно или нет - проиграл возможность выйти в советские генералы и живет в эмиграции в Нью-Йорке. Нам, эмигрантам, как никому другому,хотелось бы непрерывно демонстрировать на родину, что все, изгнанные властями, суть цвет населения, и власти еще пожалеют, а то и будут звать обратно. В обстановке такой всеобщей сублимации очень трудно писать свободно. Хочется изображать героическое, а не живых несовершенных людей. В некотором отношении писатель в эмиграции тоже несвободен: дома его давило начальство, тут останавливает желание соответствовать своей исторической роли. В результате прежде всего пропадает юмор и сглаживается резкость и самостоятельность мыслей. К сожалению, добрые помыслы не рождают искусства.

"Секретная тетрадь" - смелая, неприятная книга, свидетельство живого таланта. Подпольный человек был рассказан нам Достоевским. С тех пор прошло время, однако подпольный человек,как никогда, существует. Пропустив недолгое время его активности и следовательно, союза с властью (революция и после), мы вновь найдем его в его подполье. Он вновь желает наградить всех собой, таким внутренне богатым, имеющим руки "творческой личности",временно живущей с прислугой (или с генеральшей, все равно) - и обижается, когда его не хочут. Он по-прежнему ненавидит (обожает) всякую власть и готов быть всегда обратным отражением своих неприятелей, до того, что говорит с ними на одном языке: "толпа пьяных юношей", "свинцовый асфальт", "разбриллиантенные зрители"; в лучшем случае - разрешенная романтика типа Лорки: "улитка ползет, и бабочка села". Он карикатурно злободневен, и все свои прошлые обиды проецирует в настоящее, хотя и проговаривается: "дряблый живот" американского президента явно снят им с другой, более зловещей и привычной ему фигуры (что-то не помнится ни одного живота у президентов за последние десятилетия). Он опасен, потому что вымещает обиды не на тех, кто в них виновен, а на тех, на ком легче. Частное ему всегда виднее целого, оно всегда закрывает целое от его разумения. Мы видим примеры вокруг ежедневно. Ухватившись за первую частность (несовершенство русской истории, модный антисемитизм, слабо мелькнувшая где-то национальная идея), подпольный человек вздувает на ней целое де-

ло, упорно отказываясь поглядеть прямым глазом на простые причины. Эти причины сияют нестерпимо, но подпольный человек видит только едва различимое, полагая тем самым прослыть гражданином мира и освоить европейский уровень удобств, наслаждений,известности. Иногда это ему удается.

Однако в лимоновском герое есть одно отличие: это русский подпольный человек. Если сравнить его с антирусским прогрессистом или с западным сердитым молодым человеком, увидим разницу. Русский подпольный человек не заносится на временные кумиры. Он заносится на настоящие ценности: добро, веру, красоту, стабильность жизни. Может, он один нынче чувствует, что все эти вещи по-прежнему существуют - а то бы чтб ему на них заноситься? Он даже знает, где именно. Из его подполья видно дальше вверх, чем из наших верных установок. Это так легко разглядеть в текстах Лимонова, и никого не должны сбить с толку ни попытки дразнить нас, ни прием восхваления зла. Похвальное слово легче всего обнажает глупость: это простой и старый прием. Поразительно глубоко для нерационального человека чувствует герой Лимонова, что зло в чистом виде сегодня не существует. "И я, не моргнув глазом, - пишет он, - твердо принял сторону зла". Помянув для порядка ведьм и упырей, он перечисляет дальше: "нацистов,чекистов, ...маленьких газеток, сделанных на ксероксе листовок, движений и партий, которые не имеют никаких шансов". Он вполне понимает, что зло имеет сегодня удивительно простые формы. Действительно, ведь даже зловещее КГБ, всеобщий устрашитель, предстает нам в виде какого-нибудь немолодого хохла - тощий Волошенюк, с трудом дослужившийся до майора, каждый день подшивает на тебя две бумажки в дрянную папку, шлепает по заду второсортную секретаршу и, язвенно морщась, проглатывает в закрытой столовой обед, которого не стал бы есть последний парижский мусорщик. Это очень скучное зло. Политические волнения оскорбительны для русского человека. Тоска по чистому злу - это, в сущности, тоска по чистому добру. "Маленькие экстремистские газеты" Запада полны дерзостей, но всё это скучные, политические дерзости. Герой Лимонова повторяет вслед за ними угрозы сильным здешнего мира. "Хороша ты, пуля. Отомстительна ты, пуля." Он надеется, что мы его не узнаем и рассердимся. Но главную пулю он назначает себе,и мы узнаём его: "Пуля, ты горяча". Старое русское лекарство от эмоционального неблагополучия, которое, по выражению Бродского (в предисловии к Лимонову в 15-м "Континенте"), - "как правило, и есть единый хлеб поэзии".

В.Марамзин

Вагрич БАХЧАНЯН

ВСЯКОЕ

Поговорка, вышитая бисером на свиной шкуре------------1
Встроенный в стены потолок----------------------------1
Бурят в стакане воды----------------------------------1
Туалетная бумага для рисования------------------------2рулона
Ружье с оптическим обманом----------------------------1
Волосы, зачесанные на зад-----------------------------16000000
Знак безразличия--------------------------------------1
Горькая чаша весов------------------------------------1
Брачный союз советских социалистических республик------1
Наносная земля обетованная----------------------------1
Древко жизни--1
Ловелас с большим стажем (до колен)-------------------1
Прыгун в ширину---------------------------------------1
Длиннорукий осёл--------------------------------------1
Крейсер "Ореро"---------------------------------------1
Танец с сабрами---------------------------------------1
Мешки с углём под глазами-----------------------------2
Вампир-полукровка-------------------------------------1
Вечнозеленое растение-однодневка----------------------1
Сокращенный до нуля рабочий день----------------------364
Приспущенные брюки------------------------------------1
Промежуток между двумя антрактами---------------------1
Искусственный карандаш--------------------------------1
Дурная слава кпсс-------------------------------------1
Гордиев санузел---------------------------------------1
Дамская комбинация из трех пальцев--------------------1
Обед из трех букв-------------------------------------1

Гробовая доска почета-----------------------------------1
Швейная машина времени---------------------------------1
Узбекский доллар---------------------------------------1
Драматург с именем,но без отчества и фамилии-----------12008
Папа римский---1
Родина-мать--1
Сын полка--1
Бледный, как смерть, негр------------------------------1
Лилипутище---1
Кремль-брюле---1порция
Членораздельная речь венеролога (стенограмма)----------1
Палата курдов--1
Медный всадник без головы------------------------------1
Картофельный лимонад-----------------------------------20бутылок
Широкополовая шляпа------------------------------------1
Остров, окруженный сушей-------------------------------1
Песочные часы с боем-----------------------------------1
Хлеб с солью (английской)------------------------------1комплект
Дальтоник, позеленевший от стыда-----------------------1
Картина "Затруханный Тухачевский в Туруханске"---------1
Скульптура "Буденный верхом на Коневе"-----------------1
Коллаж "Утро нашей родины в сосновом бору"-------------1

И Т О Г О: 16012439штук

Поэт и художник Вагрич Бахчанян принадлежит к той талантливой харьковской группе (Эдуард Лимонов, Анатолий Крынский),что приехала в конце 60-х годов завоевывать Москву. В ту пору коллажи и шутки В.Бахчаняна (он же Б.Вагрич) не сходили с 16-й страницы "Литературной газеты". Сейчас живет в Нью-Йорке.

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ВЕНОК СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ

Посвящается памяти
Роальда Мандельштама

1

Дозволь мне дерзость вольно вечность петь
В зеленых сферах легким звуком свиста
Кого звенеть повеяла неметь
Дудой на струнах глупого арфиста

Вспорхнул удод - и пусть балдеет медь
И отступают в ропот сёстры систра -
Но это просто смерти страсти месть
Что трость любви возводит в дар артиста

Дозволь пропеть, родная слепота,
Мое "прости" твоей сухой цевнице
Снег света падает, крылатая пята
Взломала лед над зеленью певицы
Пустой судьбы - над небом новых птах
И шарят в страхе пряхи в прахе спицы.

2

Холодным белым лебединым криком
Мой лебедь-пеликан, - туда где вне
Растает дева-Эхо-Эвридика
Как облако на ветреном руне

Лети - и возгласи дано ль струне
Впотьмах над Зодиаком меркнуть диким

Иль дивным звукам править как и мне
Апофеоз меж крыл безглавой Ники

Твержу на память зимний твой сонет -
Мой птица-друг Орфей, жонглер крылатый
Стальной как камень ледяной как снег
Нетленный слог нетающего злата
Его поет Эрато мне во сне
И белыми трясет кудрями Ата.

3

Стих голубь соловья свинцовым бликом
Голубка соловья - глубокая вода
Плыви туда туманом в никуда
Вдоль голубых сирен пернатых ликом

Пусть всхлипнет гонг и булькает дуда
На дне ручья прощальным звуком тихим -
Не вспомнит их ни серебром ни лихом
Пустая память - белая слюда

И мокрый лотос вздутый корень чей -
Волынка памяти его вкусившим
Дурной турнир с персоной без речей
Сплясать вничью с полусловесным бывшим
Не искусит, - как соловей ничей
В свинцовом горле славословьем плывшим.

4

Тебе мелькнет строфою струн лететь
С эгейским озареньем: Парус! Парус!
На ионийских ныне скалах падать
Иль вновь лететь на корабле к тебе

Так словно древа неба синий ярус
Над мачтой реет берег в нищете
В гнезде вороньем где витать мечте
Определил вперед смотрящий Янус

Надежды, снасти, альционы хрип -
О упованье в самоослепленьи!
Загадка: полусфинкс - полуэдип,
Застывший миг в мгновении паденья
В бездну - где тьмы необозримых рыб
И зимородок пьян в прибрежной пене.

Дари мне вольность дерзко повторить
Что я не узнаю в чертах октавы
Хребтов тех спин чьи шеи гнули главы -
Кого Цирцея пела опоить

И не родился б воздух из кифары
Дыхание в гармонии явить
Или творенью рогом струны вить
Когда не протрубили б в горн кентавры

Ради чего сатиры и скоты
Мычат через пустыню пробегая
На хриплый благородный вой карная
Что звякают пляша шаманы и шуты
Додонские в ветвях о чем гудят котлы
И то про что бубнит им Пифия смурная.

6

Чего не смел бы никогда коснуться
Хрустальных облаков холодный синий шар -
То небо ангелов невзрачные мелодии
Поющее в просверленный кристалл

Они свистят в дырявый свой топаз
И губы их перебирают бусы
И в их устах чуть слышит голос наш
Большие перламутровые звуки

Казалось бы один и тот же звук
И неизменный и непостоянный
Как будто бы все тот же странный звон
Но звон преображенный в свет пространства
Но помнит камень этой флейты свет
Шум раковины несравненно более глубокой.

7

Мой вечный сон, - увы пора проснуться
Пришла - и лицедействует зима.
Лес белых сов давно сошел с ума
Рой сновидений - тающее блюдце

В снегах, и вихрей тусклая сурьма -
Дурная весть под маской тонкой сути
Взметнулась ввысь и замерла в сосуде.
Разбилась льдина - за стеклом тюрьма,

И тó лишь нам свидетельствует взор
Фантазии морозной синей серой

Как на окне холодноватый вздор -
Пар вздоха Эхо, иней Филомелы
Начертан лапой умственной химеры
Раскинул странных перьев злой узор.

8

Так коротка,что нечем отдарить
- И что тебе? - струна моя витая,
Смотри: в зеленой свите сфер и птиц
Пернатый Веспер над тобой витая

В тот миг зари когда кругом светает
Зовет к востоку падающих ниц
От неба отраженным светом тая
Биясь струной в твою стальную нить

Светло неверно и немного пьяно
- О ветвь зари! - листва твоя как пар
Порхает нем ее ответный дар
Самозабвенный звон ее изъяна -
То пляшет в тонком воздухе Икар
Над кроной золотого Есаяна.

9

Отдай мне честь витать над вольным знаком
Свободы петь пленительную стать
И суть ее и злую власть блистать
Пред желтым осыпающимся злаком

И сок ее так сладостен и лаком
И о как искусителен плясать
Над ним пчела́ми - как лишь может стать
Блестящий мед покрытый сладким лаком

И в нем нам внятен рыбий говор рек
И шорох зерн сухих и голос соли
И все мы в нем как мухи в янтаре
И колокол оттаявший в виоле
Долдонит гимны этой вольной воле
И билом бьет о утренней поре.

10

Где вихрь носит в высях белых птах
И звездная страна над ним пространна
Мы песнь споем и с музыкой в устах
Войдем в строенье нового органа.

В составе том последняя труба
Могла бы дуть без мысли и без страха

Но кочевой - пируя на гробах -
Развеет дух блаженный призрак праха

То выбив дробь на клавишах зубов
Глядит он как очами водят гости
То звякнет бубенцами позвонков
Среди забав играя с милой в кости
Смешно сказать, - когда б не отзвук трости
Флейты, рвущейся из оков
ее отверстий.

11

Где зверь кружится мутным Зодиаком
Кружится рыбой в мутной высоте
Чьи символы в дымящей красоте
Торчат как главы триумфальных даков

Где коченея в сумрачной тщете
Лик лиры проступает серым зраком
И рог ее светилу одинаков
Сверкает в неприступной суете

Где самый образ косности явленной
Бессмысленно творит сквозь хаос бег
Там о Горгоны падающих век
Железны лишь алмазны звезды тленны
Что падают чертя пути мгновенны
Вослед исчезновению навек.

12

Вдоль колеса простертого в ветрах
Меняет полдень в полночь легкий облик
Чернеет синевы рассвет закатных облак
В павлиньих перьях - в огненных перах

Мы ныне ставим сеть на птицу Рух -
Вплетенный в воздух жизни смерти отблеск
Окутывая в звук его заглохший отзвук
Как в паутину неподвижных мух

Весной надежда - осенью забава
Над пеплом с синим небом пополам
Там токовать тетеревами, право,
Смешно - хоть больше не осталось нам:
Как сон забыто фениксово право,
Увы, его зола досталась снам.

13

Внемли мне речь пера твои зиянья
О небо Аргус, ведь с предвечных пор
Ты распахнуло нам глухой Боспор
Хребтов соленых бычье вод мычанье

Безмолвный век иль хилиазм молчанья
Не разрешил наш неподвижный спор:
Бежит иной - иной берет топор
Чтоб с узких губ отведать привкус знанья

Как дева-ива трепетное диво
Невнятен речи крыл твоих завет
Быть может это звуки - зовы Ио
Иль новый, столь же странный твой ответ?
Иль заклинать как древле грозы Иов
Нам тонкой пар - Психеи малый свет?

14

Реки мне птицу в речи изваянье
Вдохни в изображение реки
И ляжет лебедь в статую слиянья
И канет Леда в воздух крыл руки

Болван рассудка, идол слов названья,
Ну что же ты, камланьям вопреки,
Разлив бальзам скользишь без покаянья
Как мумия в зеркальный гроб строки?

Ее не воскресить - и реки трели
Стихи стихии в пене птичьих волн
Как Лета о которой мы не пели
Струится где вертит рулем Харон
Сквозь пустоты ритмический тромбон
Дыханьем духа в свиристель свирели.

15

Дозволь мне дерзость вольно вечность петь
Холодным белым лебединым криком
Стих голубь соловья свинцовым бликом
Тебе мелькнет строфою струн лететь

Дари мне вольность дерзко повторить
Чего не смел бы никогда коснуться
Мой вечный сон - увы, пора проснуться
Так коротка что нечем отдарить

Отдай мне честь витать над вольным знаком
Где вихрь носит в высях белых птах
Где зверь кружится мутным Зодиаком
Вдоль колеса простертого в ветрах
Внемли мне речь пера твои зиянья
Реки мне птицу в речи изваянье.

Михаил ДЕЗА

ДВИЖЕНИЯ

Из дневника очень молодого математика

ДВИЖЕНИЯ

Ежесекундно в нас сгорают александрийские библиотеки.

Нет любви сильнее, чем у хищника к добыче - в их отношениях есть бритва водопадов и ужас быстрых рек. Тоска ножа по ране, ненависть его к пустоте и мечта о ножнах.

Выпрямлюсь и стану твердо - земля повернется вокруг моей оси, скручиваясь под ногами.

Освобождаюсь - вылетает сокол, выползает змея, разбегаются львы и мыши.

Гигантский шар катится по высоким иглам разной высоты. Они укалывают шар. Вспыхивают звоночки, дрожат высокие,слишком частые звуки возбуждения, мерный хруст, потрескивание, проблески, ровный мертвый свет от безумной скорости, перебрасывание,истязание света в очень маленькой комнате.

Во время, когда оседающие гильзы кончают свой путь, когда захлопываются двери и отшатывается зверь.

Часы стоят, по небу тихо ходит больная некрасивая луна.

До сих пор огромные полипы тихо переходят океан.

Эта ночь энергична. Все курицы мира снесут завтра от нее по маленькой гранате. Через двадцать - из железных яиц вылупятся желтенькие птенчики взрывов, маленькие шарфюреры пятиметровой смерти. Завтра все пушки мира родят по соловью. О, бедра пушек...

Стрела не знает мира. Она несется, остужая рану на лбу, обгоняя собственную злость. Он стекает с ее одежд на скоростях, бо́льших узнавания. Но брызги обжигают, и это месть стрелы.

Обрубим гигантские сосны - обольем их вершины серой. Проведем сосною, как спичкой, по шершавой щеке Земли. По дорогам, на которых миллионы лет ползают жуки. Дороги - морщины ума на этом лице Земли.

Тонкий стерженек беспорядочно и очень быстро вонзается в среду и выскакивает опять, ощупывая ее жуткими пальцами слепой машины. Наконец длинная игла возбуждения укалывает капсюль в клетке... Разливается бугристая жидкость, и чудовищно преображаясь, извиваясь в мелкой дрожи перенапряжения, клетка умирает на мгновенье. А вафельный шар возбуждения струится дальше, наступая тяжелыми сапогами в теплые переулки нервов. Потом в маленьких фиордах вафельные шарики лопаются, и шипящая прохладная кровь свободно стекает по контурам среды, оживляя раненые клетки и унося убитых.

И вот, потрескивая в репродукторах клеток, скользит упругая живая вода - информация. В мозгу еще теснее меня обступают хари непосредственных восприятий. Они сталкиваются и рассыпают искры конструкций.

Игла хочет величайшей силы на кратчайшее мгновение.Если самоубийство, то прикосновение к высокому напряжению, прыжок из ракеты.

Стрела бесконечной длины назад. Прошлое, океан, исповедники причин и формы, место, откуда растут пальцы. Там плавает странное животное - цель, и пережидает все продолжающуюся суету творения. Туда возвращается время по окончании вечностей,нанизывая их на ожерелье Дюз.

На кончике стрелы мгновение "сейчас". Это не точка, а очень маленькая площадка. Из-за нее сопротивление воздуха. И гигантская стрела не может коснуться шара бесконечного радиуса.

Бесконечная стрела касается бесконечной плоскости.Тись. Часовым - ножи. На реях повисли японцы. Маленькие существа у основания перпендикуляра загипнотизированы высотой его луча.О, ты прекрасна, возлюбленная моя, глаза твои голубиные! Спесь мгновенья, королевское достоинство его. Презрение аристократии секунд к буржуазии веков. Мгновение не нуждается в происхождении. Зато оно сжимает в ничто ВСЕ элементы будущего. Сейчас мир детерминирован. Как дико меняются масштабы. О, лизины лизинов! Материя требует сознания. Из каменного мешка вещи в себе доносится стук маленьких рук. Энергия требует объема, линия - ширины, тишина - оваций. Чрезмерность точки укола создает религию. Но подлая страсть к размножению. Мгновение взрывается, чтобы произвести другие. Причины обретают существование в республике последствий. Захлопнулась матка природы. А все-таки ты прекрасна, возлюбленная моя, и очи твои голубиные...

Экзистенциалистическая лягушка напрыгала себе в молочном тумане крохотный архипелаг Масла. Нашла изомер, задержала бесконечное проваливание вниз. А моя пуля стремится вырваться из.Неосторожность капли. Не притормаживая, упасть быстрее притяжения к самому рациональному - Богу, чтобы разбить многие кувшины. Упасть мертвым жуком, произведя АВЗЗ в мещанском сердце Бога.

Скорпион. Самураи. Вселенная разбегается от меня и стекает в ведро, отскакивая от стенок. Убийство себя - вбить гвоздь в расползающееся, в очень ненадежное место Вселенной.Огонь.Сжаться в огне для прыжка в разные стороны.

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ был большой и спотыкался, увеча Землю. Он проваливался в мягкие сиденья, и мысли вылетали из головы, как пробки из шампанского. Он был один - никто его не видел, потому что никого не было. И рассыпался он в мелкие брызги и хрустящее стекло. И каждая пылинка зеркала отражала весь мир, каждая икринка стала тем, что есть человек. А он все разрушался, и видно стало, как непомерно он был богат. Теперь он бессилен, но видит все. Нет, я тоже хочу рассыпаться на мудрую мелочь. И во мне перекрещиваются зеркала и мягкие провода врываются в темные пульты. Нельзя протиснуться в узкие ходы мозга.

Бросить в лестничную клетку одежду, спустить в мусоропровод часы и документы, отрубить люстру и далее в том же духе привести в порядок все свои дела. Заткнуть все органы чувств дубовыми пробками. Найти в одном себе силы и стимулы. Слушать, как в глубине колбы падают снежинки, ощущать число поворотов и изменение углов.

Приехал тип с другой планеты и решил, что люди - органы размножения машин. Он пытается постигнуть обычаи машин,расшифровывает как-то хаос гудков, жужжания станков, радио и т.п.

Очень длинная и тонкая нить разматывается взмахами катушки над очень глубокой пропастью. Возможно, что нить острая и холодная. По-видимому, очень темно. И вот нить падает и падает в бездну нарастающими кругами. А на самом конце ее привязан человечек, готовый, без эволюции. Он ползет вверх по ниточке к божественной КАТУШКЕ.

Поднимаю ладонь, и из нее брызжут зеркала. Я иду тонкий,сексуальный и внимательный, как оса.

Всякая боль начинается тогда, когда желание разжимает когти.

Ощупай меня рукой вора в темноте, рукой глухонемого и парализованного. Жужжи пчелой в моих волосах.

Издохнуть на берегу Великого Океана.

Лошадь - конечная цель эволюции автомобиля.

В музыке осуществляется вековечная мечта крысы о волшебном мире сала.

Менять способности по умению создавать хаос и достойно вести себя там.

Лифт выбивает крышу дома.

смерть

Простенькая радостная микромелодия, отделяющая жизнь от неорганического, предсмертный тихий звон рвущейся парироснойбумаги.

Большинство людей, подвергшихся смерти, умерло.Смерть - это действительно серьезная болезнь. Похоже, что все остальные болезни - только ее детонаторы. Смерть излечивается только в исключительных случаях; так редко, что многие не верят, например, в воскресение Христа. А зря. Вообще, по-видимому,возможности наших рук шире возможности нашего воображения.

Умереть усилием воли.

Смерть - из-за этой дамы вечером дерутся короли, и она всегда отдается побежденным.

Пусть пристально глядят акулы в иллюминаторы кают.

Люди, не выдержавшие последнего пустячного испытания,не договорившие заклинания. Окоченевшие трупы лежат в пяти метрах от великих открытий.

Не верю в смерть, не впущу серого волка. Если умру - не верьте ни одному моему слову. Он умер - значит, он лгал.

Когда изобретут бессмертие, смерть перейдет из аксиом в теоремы этики. Ведь нельзя же допустить массовое бессмертие.

страх и ненависть

Я чувствую себя объектом невидимого химического контроля со стороны общества и природы, и я хочу стать раковой клеткой.Только раковая клетка добивается диалога с организмом.

Пройти смерчем, оставляя за собой пылающие проблемы, переполняя дороги, прокладывая рельсы. И пусть уцелеют маленькие, ошалевшие от страха деревни черных муравьев. Пронзить одного из титанов, исчезая с ним. Конечно, Боже, я могу и обмануть тебя... Боже,не смотри,что я один; за моим голосом армия - 1 человек.

Жизнь - неподвижность капли в экстазе сорваться, выпуклые до касания глаза вахтерши, спокойствие, можно шалить.

Смерть - движение в темноте, сырые стены, от них легонько бьет электричеством. Низкие потолки, коридор военкомата, Боже, когда кончится эта лестница, промахнуться в темноте, МИМО... Приблизительность. Шар круглый, а тут протяженность, кровь хлещет из горла трубы.

Я пробьюсь в кабинет Бога в его бетонном бункере, напоровшись в последний момент на пулю из его личного пистолета.Я превращусь в его страх и предам его в следующий подобный случай.

Но так было всегда. А я все равно боюсь. Как нетрудно, приложив руки к груди, услышать там страх кистепёрой рыбы, выползающей на берег. Укусить могут спереди и сзади. Страх органической капли, пылинки из туманности. Страх - это золото, накапливающееся в процессе познания. Это вкус яблока,неисчерпаемость и неутолимость его.

За крошку со стола богов отдам все человеческое. О,спрячь в себе, медная дверная ручка, клад моей ненависти.

ЗНАКИ

Дать название. Против двадцати томов подробного описания предмета встают пять букв - камикадзе. Фермопилы, клеймение мустанга, азарт грубого дележа, волнующая краткость будущего.Мгновение неожиданно оборачивается лицом ко всему прошлому.Пуля требует равенства с убитым.

Название - это специфический вирус для предмета. Их разделяет пропасть размеров, давно ставшая качеством.

Название - жених предмету, прибывший из другой культуры.

Мои записи - это описание механических движений, силуэтов и поверхностей отдельных предметов.Если взять любое абстрактное понятие и немного расшатать его смысловые обстоятельства,то часть этой энергии превращается в материю. Понятие обретает массу и поверхность. Главное, поверхность, а не вес, не объем и уж не смысл, конечно. Для меня описание - это кратчайший прыжок страсти.

Слова - это юные звери, они занимают место.Они созывают звуки и строят отдаленные замки. Строятся в шеренги и замирают.Мелкая дрожь прутьев решетки.

Приблизиться к кухне мастера. Жарко. Судорожное всхлипывание масла. Волосы в котле. Густейший запах личности. Интерьер смердит,хамит и лезет в люди. Нечистоплотность гениев. Они - за-

ложники будущего в наших руках. Мастер обслуживает свое творчество как лифтер.

Есть надо не вместе. Спать надо не вместе. Отделенные высокими хребтами, стоят кабинеты мастеров. Снуют подмастерья и делают выводы. Мастера встречаются друг с другом редко, как короли, и обмениваются дорогими подарками.

познание

Законы природы - выражение на лице Бога. Медленно меняется у него настроение. Что будет в пятом веке после нашей эры?

Я видел один из прекрасных миров. Ничего не скажу о нем - я не доносчик. Когда-нибудь за это будут пытать. Позор Ницше, Метерлинку и Ньютону. Ах, прелесть молчать о совершенстве. Ничего не запоминать и не повторять дважды.

Компромисс между творчеством и "зачем ты это делаешь" происходит у меня даже раньше появления первых слов-добровольцев. Трудно тащить собственный труп, хоть бы и пять метров.

Самоцель творчества - компактность, уменьшение энтропии.Ассоциация пытается заменить два объекта новым третьим.Факты сублимируются в закон.

Существование Бога - это юридический вопрос доверия к опыту.

Допустим, Бог решил все объяснить людям, - но было плохо со средствами связи. Он, скажем, сообщает по одной букве в тысячу лет. (Между прочим, так и происходит.) Пока мы просто беспокоимся между двумя буквами. Прошло 6 тысяч лет,а Бог начал с длинного слова.

Что есть Вселенная - разросшиеся ли это ветви травы или разросшиеся это корни травы? Что такое добро, длина ли это стрелы? Что такое зло, глубина ли это стрелы? Что есть Вселенная - условие ли задачи, записанное в эфире, или решение ее, записанное в явлениях?

Готический метод - решать проблему в лоб, вглубь, объективно, как саранча. Метод дьявола - интуиция, случайный поиск.Трясти задачу, пока из нее не вывалится золотая монета.

Всякая мысль вызывает отвращение, как одеяло,накрывшее пламя, как окрик свыше.

За смертью, за первым глотком вечности следует познание второго смысла символов.

ЭВОЛЮЦИЯ

За 10^{10}, скажем, лет из лягушки можно сделать человека или двух.

Как искра по бикфорду бежит человеческое "сейчас" по тропе эволюции, приближаясь к взрыву. Детонация вызовет--

Машина - это сюрреалистический человек, квинтэссенция нашего вкуса, самоцель и мера.

Слезть с дерева, начать разговор, выдумать огонь - непостижимо трудно. Рыбе вылезти на берег, самцу подойти к самке - подобного мы не смогли бы выдумать сейчас. Прошлого не было.Время беспорядочно шарит фонариком по немалой темноте, выхватывая куски неподвижного объема.

Взлететь, чтобы не садиться, плыть от берега, выбиваясь из сил. Есть ли сверхъестественные барьеры, через которые не может перелиться эволюция? Есть ли последние реки, через которые нельзя перекинуть мостик из человеческих рук, ковер поколений, превращение колен? Есть ли звенящие пропасти, через которые не перепрыгнул бы дивный зверь продолжения рода - творение сандала и мускуса, исполненное очей?

Чем бессмысленней элемент культа, тем древнее его целесообразность. Чем неутилитарней идея, тем позднее придет ее необходимость.

человек

В человеке столько изящества, излишней роскоши, украшений, достойных лучшего мира.

Мечемся друг за другом, вступаем в молниеносные союзы, как будто кто-то сказал, что скоро где-то будут давать бессмертие и силу, но не более двадцати пар. Друг - это знать милые слабости, используя которые можно при случае проскочить перед ним на прием к Богу. Стоп. Всякий стоит ровно столько, сколько о себе думает, и получит столько, сколько хочет.

Впитать в себя все общеживое, общеземное, отказываясь постепенно от чисто человеческого, все время расширяя понятие своего брата, друга, племени.

Люди обычно ищут доказательство себя вне самих себя,в порожденных ими изменениях мира.

Моральный статус человека измеряют не его долей в обеспечении общественной удачи, а его долей в перенесении страданий.Это идет с доморальных времен, с родительского и полового чувства. Считается, что шкала страданий тоньше, важнее и универсальней, чем радости. В общем, люди больше боятся страданий, чем хотят радости. Радость - это лишь осознание отсутствия страдания, неудача врага. Будто бы страдание первично.

Хорошо бы открыть новые мотивы для жизни, а то старые уже убывают.

Человек только сопутствует вещам, совершающим непонятные переселения. Я - пересечение вещей, содержимое пальто.

МОЛОДОСТЬ МИРА

На Земле еще слишком мало людей. Еще не все возможные типы представлены среди живых. Мы - еще толпа патрициев, родоначальников. Еще нет кворума для принятия решений.

Это дурной сон, разбежавшийся зоопарк. Боже, неужели мы и в самом деле предоставлены самим себе.

Мы умеем ходить, плавать и летать, умеем говорить и передавать информацию на немалые расстояния, умеем добывать огонь и атомную энергию, мы знаем несколько способов делить добычу и кое-что еще. Мы молоды, как мы молоды. И черпаем информацию из хаоса слишком редким решетом.

Идет эпоха первоначального накопления знаний, и я - один из молодых идальго, покинувших континент, чтобы найти свое Перу. В мозгу современного человека вырос Минотавр, требующий десять открытий в день. Мы живем за счет непознанного, как и за счет флоры и фауны.

В окончательные моменты творчества совершается убийство пророков и исполнение проклятий. Но тут есть и неутилитарные цели инстинкта - барщина Богу.

1959-62

Михаил Деза родился в Москве в 1939 году. Математик, с 1972 года на Западе и - если не путешествует по своим математическим и любознательным делам, - то живет и работает во Франции, в Париже.

М.Л.КОЗЫРЕВА

ДЕВОЧКА ПЕРЕД ДВЕРЬЮ

П О В Е С Т Ь

Длинный полутемный коридор. Возле каждой двери - табуретка. На каждой табуретке - примус. Или керосинка. Керосинки коптят. Примуса шумят. Пляшут на чайниках крышки...

А коридор пуст.

И только возле одной двери делают что-то мало понятное. Девочка стоит рядом, нахмуренная, засунув руки в карманчики фартука, и строго спрашивает:

- А вы чего заклеиваете нашу дверь? Это наша дверь. У меня игрушки там. Вот папа придет - он вам даст!

Ей не отвечают. Молча работают, а затем подбирают с пола портфели и проходят мимо нее - странные граждане с портфелями под мышками и с тщательно загороженными от ее сурового взгляда пустыми безглазыми лицами.

С тихим шипеньем смолкают примусы. Люди выползают из дверей, берут чайники и исчезают. А лица у них не как всегда, а как у тех дядек - без глаз...

Что с ними? Ведь она их отлично знает. Они веселые. Заводят патефоны и поют песни. Они дарят ей печенье и конфеты и спрашивают, кого она больше любит - папу или маму...

Примуса стоят смолкшие.

В коридоре темно. И тихо-тихо.

Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело...

Бегал, наверное, по коридору и плевал в чайники. Или выкручивал фитили, чтобы они коптели...

Ничего ведь не произошло. Папа и мама уходят всегда надолго. Мама едет в Москву - к редактору. А папа иногда едет с ней вместе, а иногда улетает даже. Потому что мама - просто переводчик,

а папа - и переводчик и летчик. Он прилетит. Оторвет ихнюю противную заклейку с двери, а дядек тех больше не пустит. Он будет крутить ее по комнате и петь песни:

Открывай пошире рот!
На те, Витька, пряник!
Мне сегодня перевод
Заказал ботаник!

Перед уходом мама всегда целуется. Сегодня тоже поцеловала. Встала на одно колено, притянула к себе Витю... и поцеловала. И ушла. И с ней... какие-то. С ее работы - редакторы (она сказала Вите). А потом пришли эти... Ну и что?

Тишина в коридоре. За каждой дверью сидят летчики и молча пьют чай. Или не пьют. И чайники стынут на их подоконниках.

И вот, в тишине, за одной из дверей начинает хрипеть патефон. И дверь распахивается. На освещенном пороге женщина-летчик Милица Васильевна. На ней черный капот с хризантемами, в волосах бумажки, в зубах папироса.

- Виктория! - кричит она на весь коридор. - Марш ко мне пить чай. С бубликами. А ну по-быстрому!

А патефон в ее комнате вопит что есть мочи:

- Сэ-эрд-це! Тебе не хочется по-ко-ю!..

И под его победные вопли я вступаю в жизнь. С этого часа я помню все подряд.

"ЧТО ТАКОЕ х о р о ш о
И
ЧТО ТАКОЕ п л о х о"

I

- Нянь! А эта тетя на картине - кто? Королева?
- Никакая не королева.
- Ну, тогда герцогиня? Или графиня...

На этом мои познания в геральдике, взращенные на мамином брокгаузовском Шекспире, иссякают, и я умолкаю.

Но женщина в золотой одежде, с короной на голове, смотрит на меня из рамы и не дает покоя. И странные крылатые не то дяденьки, не то тетеньки вкруг нее. И мальчик. Ну как же не королева? Вот и у него корона. Значит, он принц.

- Так кто же она тогда?!

- Плотникова жена, - отвечает няня и с грохотом ставит утюг на подставку.

...Вовсе уже непонятно...
- А эти кто - с крыльями?
- Ангелы. Они ей служат.
- А почему?
- А потому что Царица Небесная.

Простыня взлетает в няниных руках подобно Белеет-парусу.

Ух ты! Вот оно что! Ну тогда все понятно - и синенький стаканчик на цепочке, и огонек в стаканчике... И корона... Царица Небесная - это, наверное, в сто раз главнее, чем Золотая Рыбка. Рыбка - Владычица Морская; у нее только рыбы и восьминоги всякие. А у Царицы Небесной кого только нет! И ангелы эти, и воробьи, наверное... И летчики тоже, конечно!.. Вот это царство!

И словно в подтверждение моих размышлений, в оконное стекло требовательно начинают лупить носами громогласные подданные Плотниковой Жены. Няня ставит утюг и идет к шкафчику.

- Сейчас, мои лапоньки. Сейчас, мои сирокузики...

Няня достает мешочек с пшенкой и сыплет через форточку на подоконник. Воробьи гомонят, подпрыгивая от нетерпения, а няня Груша отпускает в их адрес нелестные замечания:

- Ведь еще насыплю, дурья твоя голова, чего скачешь, козел заморский? Ладно, там у меня на кухне еще перловка была...

Но только няня отходит, как над колодцем двора медленно начинают парить две жирные вороны, прилетевшие из Соседнего-Двора-в-Который-Ходить-Нельзя.

- Няня! Вороны!

Но вороны уже, нагло отпихнув перепуганных воробьев, долбят черными клювами по подоконнику, стараясь сожрать до няниного прихода как можно больше.

- Ах ты, Гамлет проклятый! - бушует няня. - Чтоб тебя дождь намочил! А ну, брысь отсюдова, прорвы!

Вороны, не торопясь и не теряя достоинства, отлетают.Тем более, что они уже все сожрали. А неунывающие воробьи снова скачут по подоконнику, отлично зная, что няня не замедлит навести справедливость и даст перловки.

Вот интересно: а вороны тоже подчиняются Царице Небесной? Нет. Наверное, они у нее шпионы. Или враги народа. Должны же в Ее царстве быть Враги Народа?..

2

Мои мама и папа уехали в командировку. Командировки бывают большие и маленькие. У мамы и папы очень большая командировка. Так мне сказала женщина-летчик Милица Васильевна. Сначала я жила у нее. Долго. Наверное, целый месяц. А потом пришел Комен-

дант Общежития и сказал ей, чтобы она отдала меня в Детский Дом.

Тогда Милица Васильевна взяла меня за руку и поехала со мной в Москву. Она сказала:

- А теперь, Витька, попробуй привести меня к каким-нибудь твоим знакомым. Или дальним родственникам.

И я повезла ее к няне Груше. Раньше, когда я жила с мамой и папой, мы часто ездили к няне, и дорогу я знала. Мы сели в трамвай-троечка и поехали. Когда я ездила с мамой, я всегда смотрела в окошко, и где вылезать, я помнила. Надо было доехать до площади, где с одной стороны ворота, а с другой - большой красный дом и роют под землю дырку. Мы слезли и пошли через площадь к няни-грушиному дому. А когда шли мимо Соседнего-Двора-в-Который-Ходить-Нельзя, Милица Васильевна остановилась,побледнела и говорит:

- Э, нет, брат... Это куда ж ты меня ведешь? Сюда я еще не хочу.

- Нам не сюда. Нам туда.

И привела ее, куда нужно.

3

Няня Груша - не мне няня, а моей маме. Она ей кормилица.Это почти что бабушка. Так она мне объяснила.

Ее квартира очень хорошая. В ней много разных людей. И все готовят на кухне. Не как у летчиков - на табуретках, а все вместе. Кухня у них громадная. Примуса жужжат на разные голоса, и надо громко кричать - иначе ничего не слышно. И от этого очень весело. Пол у них на кухне в красную и желтую клетку, и по нему можно скакать в классики. И коридор у них не такой, как у летчиков, а весь кривой. В нем много сундуков и старых кресел, и там очень хорошо играть в прятки или в шпионов.

В няниной квартире живут два больших мальчика - Шура и Ясик - и девочка Илика. Илика еще маленькая, она играть не умеет.Она только бегает за нами следом. Или закроет ладошками глаза и говорит:

- Ищите меня, я спряталась.

Няни-грушина комната самая лучшая. Она прямо за кухней. В ней стоит наша с няней кровать, столик, две табуретки и висит шкафчик. В шкафчике три полки: на одной - чашки с блюдцами, две беленькие мисочки, чайник и сахарница. На другой книжки - нянины, моя и одна мамина: "История искусств". А на третьей - пшенка для воробьев и всякое неинтересное.

Окно у няни глубокое. На нем можно сидеть и смотреть во двор. Или на нянины картины про Плотникову Жену и про ее мальчика. Картин много, и все они висят на стенке рядом с окном. И синенький стаканчик на цепочке. А внутри него огонек.

4

Няня - самая главная в квартире. Она не их няня, а моей мамы, но всё равно все - и взрослые тоже - ее зовут "няня". И все ее слушаются. И без нее ничего не знают.

Рано утром я просыпаюсь и слышу, как няня стоит на коленях и разговаривает с Плотниковой Женой. Я не очень хорошо все слышу, про что она ей говорит, потому что не проснулась еще совсем, и их разговоры я еще немного сплю.

Няня говорит долго. Иногда из кухни кто-нибудь заглянет,видит, что няня занята, и уйдет - не хочет ей мешать. Но няня все равно отвлекается. Вдруг понюхает-понюхает и как закричит,прямо так - на коленях:

- Николай! Ты, что, там макароны на постном масле, что ли, жаришь? У вас ведь жир еще есть.

- Так Нюра на дежурстве. А я не знаю, где у нее там...

- За окном погляди. В эмалированной кастрюльке, - советует няня.

И снова кланяется. Но так у нее ничего и не получается.

Няня прислушивается, вскакивает и бежит на кухню.

- Ты, что ли, с ума сошел?! - шепчет она испуганно (так что мне слышно). - Эмалированной от алюминиевой отличить не может. Это же лизкина!..

Выдав дяде Николаю жир и отругав его как следует, няня возвращается. Но тут уже просыпаюсь я и стучат в окно воробьи. Няня велит мне одеваться, дает крупу и идет проследить, чтобы эти окаянные шалапуты - Яська с Шуркой - не умчались в школу не емши, благо матери на работе... Я кормлю воробьев и теперь уже сама кричу на ворон:

- Пошла отсюда, Гамлет проклятый!

Последней на кухню выходит Лизка, у которой дядя Николай чуть не съел жир из алюминиевой кастрюльки. Няня жарит оладьи,а я стою рядом и смотрю, как Лизка гладит свои блузочки и поет песни.Лизка ни с кем не здоровается, а только поет песни.Она поет: "Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня..." И я так думаю - Лиза эту песню про себя придумала - такая она кудрявая.Закончив петь, Лиза убирает утюг, одевает в коридоре перед зеркалом свой беретик и жакетку и идет на работу. Лиза работает машинисткой на Соседнем-Дворе-в-Который-Ходить-Нельзя.

5

Тихо стало в квартире. Все ушли. Мы с няней забираем Илику к себе. Няня готовит, а пока у нее варится, читает нам книжки. Или мои, или новую иликину книжку.Книжка толстая - она для больших. Но и для детей там тоже немножко. Очень хорошая книжка!

Жили-были Сима с Петей!
Сима с Петей были дети!
Пете - пять,

А Симе - семь!
И двенадцать вместе всем!

Хоть в мячик под нее скачи, хоть считайся! Нам с Иликой очень нравится! А няня читает, читает - и все время ворчит:

- Скажите пожалуйста! Детей он учить взялся! Этот научит! Что плохо, что не плохо - все расписал, хоть в раму его вставляй, такого умного...

А я не понимаю:

- Что ты на него сердишься? Ты читай!

Вечером Шура, когда со школы пришел, все нам рассказал - чего няня этого писателя не любит: она один раз к Первому маю (это давно было - Шурка с Ярькой еще в школу не ходили,а теперь они уже на второй ступени) мыла окно в кухне,и вдруг напротив в окне ка-ак бабахнет! Няня и говорит: "Шурка! Беги погляди,у кого примус опять взорвался..."

А оказалось - совсем не примус... А тот писатель, который Иликину книжку написал.

Из нагана в себя. Сам...

- Нянь, а в себя сам... разве убивают?

6

- Неча глаза таращить. Зубы чисть и спать. Ночь на дворе.

Я не хочу спать. Я сижу на окне и гляжу. Много как окошек в нашем дворе. Одни окошки веселые - с занавесками, и абажур красный, и цветок на подоконнике. А в других - только лампочка под потолком и никаких занавесок. И видно, как дяденька какой-то ходит по комнате. Ходит и курит. Одна папироса кончится - он чирк! И опять курит... А в другом - мама какая-то с ребеночком. Тоже ходит. Укачивает его, наверное. У нее еще лампа стоит на столе и машинка, на которой печатают. Мама подошла, взяла со стула платок, прикрыла лампу - чтобы маленькому не светило... И все ходит и ходит.

"Спи, моя радость, усни..."

Это моя мама так пела.

"Мышка за печкой не спит, мышка все время скрипит. Кто-то вздохнул за стеной. Что нам за дело, родной..."

...А одно окно совсем черное. Прямо напротив нашего. Оно и днем черное - в нем теперь никто не живет.

КОНТОРА КУКА

1

...Звон, шипение и скрежет.

Я просыпаюсь.

Крохотный, как мышонок, трамвайчик выскользнул из кружева занавески, помчался по синему снегу,юркнул за пудреницу и скрыл-

ся. Человечки - черненькие, как чаинки на скатерти - бегут врассыпную сквозь стебли цветка, спешат, исчезают в листьях, снова появляются и, как угорелые, мчатся дальше...

Рой желтых снежинок вокруг фонарика гаснет. Снег из синего становится серым...

- Бам! Бам-м! Бам... - раздается где-то в глубине квартиры.

Цветок в горшке стоит на столике перед зеркалом.

Я лежу на диване в чужой незнакомой комнате. Прямо надо мной на стене прикноплены фотографии: зареванный мальчик в нагрудничке, другой мальчик постарше - на нем длинное пальто и фуражка, а за спиной ранец; уши в разные стороны,рот раскрыт... А вот красноармеец. Не понять только - дяденька или мальчик. На нем шлем со звездой. И ружье в руках. А на носу очки. Никогда не видела красноармейца в очках... И еще летчик. Тоже в очках. Как мой папа...

Тут уже я окончательно просыпаюсь и соображаю, что лежу на диване, в комнате папиной тети Юны, в городе Ленинграде, а все эти мальчики на стене - и есть мой папа.

Мой папа (и мама тоже) уехали в командировку. Командировки бывают большие и маленькие. У папы и мамы очень большая командировка. Ей и конца не видно. Папа и мама живут в командировке, а я жила у маминой няни в Москве...

- ...в комнате прислуги! За кухней! По стенам иконы! Чад! Вонь!

Тетя Юна так все это расписывает, что у меня даже в носу першит - такая я, оказывается, была несчастная.

Вокруг за столом - таким огромным, что на нем можно в пятнашки бегать, - сидят разные мои родственники, качают головами и кормят меня питательной пищей - на первое тертая морковка,на второе суп морковный молочный, на третье вареная котлета с морковным пюре, кефир и, наконец (слава тебе, Боже!) - яблоко!

Родственники разложили на столе тетрадку, чернильницу и перо и пишут план моего воспитания "По Системе".

- Гимнастика и обтирание - это всенепременно. С Фемидой они творят чудеса...

Фемида, с которой гимнастика творит чудеса, сидит напротив меня, повязанная салфеткой, и размазывает морковь по тарелке. Она чуть постарше меня и очень толстая.

Тетя записывает про гимнастику и обтирание, а я гляжу по сторонам.

Комната, где мы сидим, очень красивая. Стены синие, и по ним звездочки. На стенах разные картины. И пять уток вниз головами: две с одной стороны, две с другой и одна посерединке. Сверху, с далекого-предалекого потолка спускается абажур,а сбоку у него, точнее, перед моим носом, висит шнурок, а на шнурке качается сова и таращит на меня глаза.Когда мы с Фемидой съели свою морковку,Фемидина мама нажала у совы под хвостиком и оказалось, что это не сова, а звонок. И вошла еще одна тетенька,и Фемидина мама сказала ей:

- Танечка, уберите, пожалуйста...

А прямо передо мной - буфет. Он такой... такой,как будто он не буфет, а за́мок. У него башенки. И разные чертики. И виноград с листочками. И два балкончика, совершенно как настоящие.На одном балкончике лежат разные коробки от конфет, только,наверное, пустые... А на другом - стоят двое. У него серьга в ухе, а на боку сабля. Он держит своими черными руками ее золотые волосы,а она положила ему на плечи руки и глядит ему прямо в глаза... И мы тут сидим, разговариваем, кушаем, а они глядят друг на друга, а на нас даже внимания не обращают...

2

- ...А он ее потом задушил подушкой.

Я чуть не лечу вниз от неожиданности. Я стою на стуле,который притащила к подножию буфета, и гляжу вниз. Внизу, на бескрайней равнине стола сверкает ледяным куполом колпак от сыра и нежно золотятся баранки в плетеной корзинке. Рядом со столом стоит Фемида. Сверху она кажется еще более толстой.

- Что ты врешь?

- Они - Отелло и Дездемона, - объясняет Фемида. - Он ее потом задушил подушкой.

Она говорит это с таким удивольствием, что видно, как ей даже приятно произносить эти слова.

- Врешь ты... - повторяю я уже менее уверенно.

Фемида начинает скакать вокруг моего стула на одной ножке и вопит на весь дом:

- Мама! А Вика не верит про Отелло и Дездемону, что он ее задушил. Ведь правда же задушил?

- Тебя, Фима, это совершенно не касается, - отвечает Фемидина мама. - И вам рано обсуждать это, - добавляет она строго.- А ты, Викочка, слезь со стула, ты можешь упасть. Фима, покажи Вике книжки. Только помойте руки.

Но Фемида не унимается и из-за спины мамы беззвучно повторяет мне:

- Нет, задушил, нет, задушил...

(Продолжение следует)

Мы перепечатываем повесть М.Козыревой "Девочка перед дверью" из самиздатовского журнала "37", который выходит в Ленинграде.

Е.ГОРНЫЙ

ЭТАП

(ИЗ ЛАГЕРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. "Накликал, черт!"Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобожден санчастью от погрузочно-разгрузочных работ. Начальник был пьян,бледен и зол. "Ну пойдем", - сказал он мне в ответ на отказ. - "На пять суток его", - буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, полтора - поперек. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенек-столик и пенечек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене - угаром. Книг,газет - нельзя. Даже бумагу на оправку дают негазетную. Еда через день. Что это - понял назавтра. Вечером дали мне ужин - кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в кори-

---

От редакторов. Е.Горный (псевдоним) - недавно освободившийся из лагеря строгого режима поэт. Сидел с обычным у нас для интеллигента набором обвинений. Сейчас живет в России.

доре. Утром - скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье - минуты три, не больше. "Нечего рассиживаться, не у тещи в гостях". Сунули в кормушку теплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба - грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнýло голодом, слабо еще, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем зарешеченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решетки плотные, тяжелые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды, как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не родней, так устал за день ходить.

С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал,лежать на полу страшно - бетон под тонким настилом, сесть негде. Стой,как лошадь, у стены. Время умерло. Оно вправду иссякло.Осталась тяжесть недвиженья его. И я в ней. И нет этому конца,и начала нет. Так и маялся. Понял истину этого слова - маяться. И наверное,не самое оно точное, есть в нем все-таки двигательное что-то,маятниковое. А тут недвижимость была, безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды наконец-то, я уже и не верил, что время пришло - просто принесли еду, которую ждал,может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю. И как я ел эту баланду, как вникал в самую основу состава ее! Крупинку всякую,капустинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки всасывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно, сквозь болтовню и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал что к чему.

Так дальше и шло. На четвертый день уже не мог стоять долго, не выдержав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, дохнýл бетон в спину преисподним холодом своим.Когда вышел наконец из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, а то бы упал. Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. В глазах зелено было и от карцера,и от весны.

Едва очухался от карцера, бросили на этап. Путь в Красноярский край предстоял долгий, сколько то тюрем придется понюхать, сколько в столыпиных помытариться! Выдали мне мою гражданскую одежду. Я ее и не узнал, такой она мне показалась жалкой, чуждой. Пиджачок, заплатанные брюки. Кургузые ботинки,дряблые шнурки - за четыре года совсем отвык, забыл, что и бывают они - шнурки на ботинках. Старая фетровая шляпа, ей лет десять уже было. Все оставил в рюкзаке, этап - та же тюрьма, даже хуже еще.В лагерном надо и пройти его. Снова воронок, снова запихнули в стакан, дышать нечем, не видно ничего, только вверху вертушка поворачивается.

Дорога в Потьму славится по лагерям. Мне родные рассказывали, каково по ней и в автобусе. А в воронке каково? Я еще утром

суп съел сдуру. Едва начались кочки, колдобины, подкатило к горлу, пот холодный побежал по вискам. Я стал бешено барабанить в дверь. Солдатня (ребята молодые еще совсем) сначала отругивалась, но, видно, уловила в моем голосе что-то, испугавшее ее. Машина стала, стакан с треском раздвинули. Я вывалился из машины и прямо-таки упал на землю. Меня рвало несколько минут. Кругом стоял высокий зеленеющий лес. Березы, осины, сосны. Тишина. И я, изнемогающий на земле. И солдаты вокруг. "Скорей, скорей, вставай, быстро давай, в машину". И снова пошли прыжки да толчки, да провалы, да встряски. И солдатская горкотня сквозь железную стенку - кто когда в наряд ходил да скоро ли в отпуск.

В Потьме ждала меня радость - лагерные приятели, везли их в Саранск, как меня когда-то два года назад. Несколько сионистов, украинец, узбек. Разговоры были старые, лагерные. Сионисты говорили о еврейской проблеме, украинец - об украинской, узбек - о ценности национального вообще. Я пытался говорить о поэзии. Но понимал, что собеседникам моим она, в сущности, не нужна. Не до того им в их борьбе и судьбе. Как и миру не до того во все его времена. Грустно все это, особенно в лагере и тюрьме, где так важно быть среди своих. Ведь кругом вышки, заборы, надзиратели, стукачи. Им-то до поэзии и подавно дела нет: а уж когда есть у них до поэзии "Дело", так пиши пропало.

Несколько дней в Потьме прошли быстро. И вот столыпин. Я в отдельном закутке как особо опасный должен быть один или со своей статьей. Меня это устраивало. Я устал от всех. На следствии одиночество страшило меня, сейчас радовало. Из других клеток слышались разговоры. "Начальник, воды". "Начальник, в туалет надо. Начальник, ей богу, обоссусь". "Начальник, в коридор нассу, веди, не видишь, не могу больше". "Воды! Волки противные, педерасты!" Вскоре в коридоре появлялся солдат и похаживал вдоль клеток, покрикивая: "Мужики, не борзеть! Сейчас смену сдадим, поведут вас. Не ахай, не ахай, проссышься еще, не умрешь". Потом начиналось вождение в туалет. Любопытные зэчьи лица сквозь решетки. Трое солдат, идущие сзади. "Быстрей, быстрей, другие ждут". Теплая вода, вздрагивая, бегущая в кружку. После жесткой селедки и твердого хлеба булькающая потом в животе, как в грелке. И каждые четыре часа проверка, четыре солдата в клетку - ногами на койку, где ты лежишь, туда-сюда - ничего нет - пошли. Днем ли, ночью ли - все равно. Головой ляжешь от двери - нельзя, не положено. Только головой к двери, чтобы свет вагонный в глаза и все громы коридора прямо по голове твоей. На то этап.

Рузаевку проехали, меня не высадили. Я и рад, быстрее на место. Получил снова сухим пайком. Следующая остановка - Челябинск. Снова воронок, стакан, и началось кружение по улицам. Сквозь щелку мелькали дома, кузовы грузовиков, фигуры пешеходов. Потом замелькали домики, заборы. Заброшенным, худородным показался Челябинск из воронка.

В тюрьме первым делом шмон. Маленький капитан с квадратными ушами и коротким носом придирчиво рылся в моих нехитрых пожитках. Я заявил о своей статье, о том, что положено меня содержать отдельно. Он злобно закричал: "Не хочешь с людьми - пойдешь в подвал". Я ничего против не имел. Вели меня по коридорам прямо-

таки в подземелье. Редкие камеры и длинная темная стена. Камеры молчали, хотя над дверью в некоторых маячил свет. Наконец меня привели. Это был глубокий подвал. Оконце маячило у потолка.В камере были четыре койки в два этажа, столик, стул. И я один. За двери после возни с ключами и шагов упала тишина. Только свет в потолке чуть мигал, словно разговаривая со мной. Я прилег на одну из нижних коек и вдохнул тишину, одиночество,вечер.Потом был ужин, мысли о будущем, о недавнем прошлом.

На другой день с утра вдруг захотелось мне писать.Авторучку отняли - в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему,стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди темных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его!Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе - неужели же нет. Ведь нужно же мне! И потрясен был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проеме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой обшарпанной деревянной шкуркой, словно ждал меня, моего душевного моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не пишется, неба не хватает. Так, целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед - баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все "хуже". Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап. Недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!

Этап до Новосибирска проходил обыкновенно. Снова крики,визги, ругань, мельтешенье солдатни сквозь решетки. Теплая вода, грубая селедка, скудный кирпич хлеба. Иногда над мутным невиденьем оконного стекла открывали солдаты верхнюю щель - и мелькали поля, перелески, стога, стада, избушки, изредка люди,а вдалеке за всей этой живой картинкой - небо,с разбега метнувшееся за леса, за поля, за даль земную. Это были лучшие минуты в этапной жизни, не входившее в программу явление природы замордованному людьми человеку. Не у всех хватало сил на эту радость.

Везли двух "полосатиков", один из них был болен.Он все время просился в туалет. Но снисхожденья ему не было.Лейтенант показался раз (мордастый ванек в мундире), получил от полосатиков матерные проклятья и угрозы и пропал. Солдаты либо молчали,либо, пролаяв свою ругань, уходили. Однако вскоре явились все вместе (правда, без мордастого лейтенанта), открыли клетку, в которой на верхних нарах лежали полосатики, и начали стаскивать их вниз. Здорового свалили быстро, а больной боролся, отчаянно ругаясь. "У, распроебанские волки, козлы вонючие, мрази поганые. Лейтенант, курва, где ты, блядский род, я тебя удавлю!" Обоих полосатиков уволокли куда-то по коридору, видно, в этапный карцер.

Злоба этой расправы устрашила обычно шумный вагон. Тихо тарабанил и вздрагивал поезд, переваливаясь на своих утиных железных лапах. В окнах темь мутная, намертво белесая непроглядная стена стекла - специально по-тюремному закрашенная.Чтобы не видел зэк людей и его не видели. И везли, упрятав, а то ведь кто их знает, людей. Из них ведь, не из кого другого, зэки-то и берутся. Что у них, у людей на уме - про всех никак не узнаешь,нет таких машин марсианских, все пока по-земному: "Расскажите все сами, вы поможете следствию, это облегчит вашу участь, суд учтет ваше чистосердечное раскаяние. А иначе..." И готово дело, техника старая, а верная. Но всех-то, всех не посадишь на этот стулик, не спросишь этак вот. Так лучше и спрятать схваченного от людских глаз за железы, за мутные стекла. Пусть орет, вопит, на решетку кидается. Усмирят. Приглушат. И не таких утихомиривали.

Привезли в Новосибирск. Поезд долго стоял на дальних переездах, в туалет не водили, воды не давали. Вагон роптал. Наконец подогнали с какого-то черного хода. Людей кругом не было. Потом прошли две женщины, из вагона посыпались крики: "Девка, покажи жопу, иди сюда, я тебя в...у" и одновременно: "Бабы, дайте папирос". Хмуро оглядываясь на наш ощеренный щелками вагон, две эти женщины - средних лет, бедно одетые - торопливо ушли.Тем более, что солдаты орали на зэков и задвигали везде окна. Запах махорки, дорожной серой неухоженности и грязного зэковского белья сразу сильнее бросился в нос. Начинало мутить тошной духотой.Вагон орал и бился, требуя открыть щели. Я тоже кричал охране,грозил жалобами прокурору. Но все было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых.Было уже сумеречно. Как особо опасного меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата.Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколеньи. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым.А держал меня он крепко и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший "Пьер Безухов" живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло мое время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щелку стал наблюдать город. Он показался широким,открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты - вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот - белобрысый, мужланистый - равнодушно бормотнул ему: "А мне по...ть" - и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Эпизод с полосатиками я рассказал в предыдущем отрывке (как и эпизод с педерастом в челябинском отстойнике) и повторять его тут не буду. Меня разлучили с полосатиками и повели в камеру. Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я

ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателей, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьев не было. Дуло из окна все сильнее и темнело. Наступало похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студеным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилег на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо.Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал - это мне удалось.Зэку ведь уснуть - первая радость,поесть - вторая. А все остальное - срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней всё стуча, приблизились. Кормушка открылась: "Чего блажишь? В карцер захотел". "Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!" Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: "В четвертой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится". Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. "В 6 утра переведем. Сейчас некому". "Это безобразие. Здесь ледник". "До шести утра нет никого". Кормушка закрылась.

Теперь большая камера уже не радовала меня. Я бегал и ходил по ней, вглядываясь в бледнеющий за окном отрывок неба. Мне чудилось, что мое упорное вглядывание в эту бледную насупленную еще ночным омрачением даль как-то раздвигает, рассветляет ее, приближает к утру, к свету и моему освобождению от неубывающего этого холода, от этой заброшенности в леденящем сибирском застенке. А за окном бледнело едва-едва. А я все ходил,бегал,приседал, дрожал, злился, подходил к двери, слушал, но ничего не слышно было.И когда я совсем уже отчаялся, внезапно стукнули шаги у двери, она открылась, ржаво скрежеща, и высокий офицер в очках сказал мне: "Пойдемте". За ним стоял ночной мой надзиратель, чей телефонный звонок вызволил меня из этой каменной ямы. Мы с офицером шли вдвоем, надзиратель остался на своем месте. Сквозь всю тюрьму, как показалось мне, сквозь переходы,какие-то перегибы коридоров, лестниц, тупиков, мы вышли наконец, по-моему, несколькими этажами выше в ярко освещенный коридор. Здесь была бельевая, я увидел двух-трех бабенок из хозобслуги, они с жадным зэчьим любопытством посмотрели на меня.Вдруг офицер оста-

новился и стал открывать не замеченную мной дверь в стене напротив бельевой. "Входите". Дверь замкнулась. Я не успел даже ничего сказать. Это был настоящий пенал, поставленный вертикально. Метров шести-семи высотой и метр в ширину. Не ляжешь, только сесть можно, и то по-турецки! Вверху, прямо над головой в потолке круглая яркая лампа. Ни окон, ни вентиляции. Теплый спертый воздух. И хоть стало мне тепло и я сразу ожил, но кошмарность сооружения, куда меня бросили, потрясла меня. Это был словно сюрреальный сон или космическая галлюцинация. А проще говоря, была тюрьма в полном своем явном виде. Я кое-как уселся на полу, прислонился головой к стене. Нажал на звонок. Явилась тут же надзирательница, молодая еще. "Долго мне здесь мучиться?" "В 9 часов придет начальство, решит, куда вас. Без них не имеем права". "Здесь дышать нечем". "Подождите, скоро придут". "Дайте воды". "Сейчас". Напившись, я попробовал уснуть, несмотря на духоту и яркий свет. Такова усталость зэковская, что она сквозь всю дьявольщину тюрьмы продирается в сон. Я уснул.Проснулся часа через полтора с тяжелой головой, всем дыханьем своим чувствуя, как не хватает воздуха. Ощущение даже слабого удушья способно довести до сумасшествия. Но надо было терпеть, время шло к девяти. И я стерпел. Наконец дверь открылась. Еще весь словно стиснутый адским этим пеналом, я шел за ментом, уже не мечтая об одиночке. Что-нибудь одно - либо люди, либо холод. Уж лучше люди.

Я помню, мы поднялись еще на этаж и пошли по коридору,густо населенному камерами. Из верхних щелей маячил свет, раздавался особенный, нестройный гул, в котором угадывались зэковские голоса - это был гул тюремного мира, столь теперь близкого мне. У одной из камер остановились, снова огромный ключ в руке у мента, дверь открывается, и я вхожу в камеру. В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сразу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе,говоривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову,представитель кавказского племени - армянин или грузин. Было немало и молодежи, всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-то, столько-то человек. Самое малое сидели здесь все дней по 8, 10, 15. От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встретила меня довольно равнодушно. "Политический - какие сейчас политические? Вот при Сталине!" "Не меньше семи лагерей? - Вот как. Что? За стихи? Бывает же". Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, хулиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. "Почему так?" Не успевают, мол. "Нет,ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, пусть дают чистые ложки". Мне удалось возмутить человек пять-шесть, потом десять-пят-

надцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше всего поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забренчал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка.Я отказался от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошел бренчать и булькать дальше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство администрации. Прошло еще минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. "Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего залупаться с ними, мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из миски, а теперь ложки не подошли". Я увидел, что все больше хмурых тяжелых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале примолкли, первый самый из них - алиментщик. За дверью было тихо,обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж,чем бы все это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, стук, бульканье, открылась кормушка и в нее подали чистые ложки. А за ними миски с баландой. "Ну вот, - не удержался я, - а уже струсили. Зато теперь как люди сможем поесть".Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за достоинство, как наглядный урок уголовникам, что такое политические. Как бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом своих смутных набрякших глаз.

А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, курило за раз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали.Ходить практически нельзя было. Читать тоже, да и нечего. Голова моя болела. Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили на меня все большее уныние. Несколько дней в этой камере показались мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекращались, как и курение.

- Хорошая там тюрьма - выходить не хотелось.

- А ты, что же - 122-я? Ну, я же вижу, что ты БИЧ, я же вижу. И сколько лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.

- А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла.Что ж я - механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней и работает. Я взял нож старый, какой попался, пошел, иду по коридору к учительской - а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с ножом на него, она заслонять, я ее, потом его. Восемь лет дали, скостили до шести. Сейчас на химию.

- Говорят, другая химия хуже лагеря.

- Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух - снова в лагерь, а химия эта х... не в счет.

- Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.

- Ну что, питерянин, ешь селедку, у меня еще с этапа осталась (это ко мне). Давно я в Питере не был. Ты, говоришь, политический. Х... это все, детство. Сидишь за тетрадки. И не погулял на воле, как надо. Я? Я и волю, и тюрьму знаю. Туда-сюда. Зато есть что вспомнить. А на воле скучно. Делать там нечего - с работы домой, на веревочке мотайся всю жизнь.

- Ой, блядь, где ж я тебя видел (это снова вокруг).Ой,блядь, да не в Гусь-Хрустальном ли, а? Нет? А чаю пожевать в заначке нету, а? Эх, где ж я тебя видел?

- Эй, политический, давай твою шляпу на ушанку махнем.А? Хочу в шляпе походить на химии. Тебе ж в Красноярский край, там холодно. Смотри, моя шапка крепкая. Велика? Х..., ушьешь.Ну давай, а, давай. Эх, я думал, хоть политические - люди.Раз в жизни хотел шляпу поносить. Не везет.

- А этот вот парень в групповом изнасиловании участвовал.Их в лагерях зовут - взломщики лохматого сейфа. Не любят их по лагерям.

- А я себе два спутника в х.. вживил, пришел в лагерь,вдул петуху, он, сука, три дня прыгал, корячился, за жопу держался. А как выходить - вырезал. Пожалел бабу. Испортишь ведь ее,никто больше не нужен будет, только давай, чтоб х.. рогатый. А мне с ней жить еще, да ей мне передачи носить...

- А я тебе скажу: все эти апостолы - они же все заключенные, как мы. Ты почитай, они все заключенные. Им всем потом вышак дали. Ты почитай, почитай.

- Ну что, начальник, косяка давишь, у нас все дома.Ужин давай, ментовская морда!

И так продолжалось час за часом дня четыре. И когда внезапно открылась дверь и какой-то чин по бумажке прочел в числе прочих пяти-шести фамилий мою, я возликовал. Скорей бы, скорей. К черту эту арифметику - день за три, тут за день вылущат так,что в месяц не залатаешься. В путь, в путь. В Красноярск.

В этом этапе я чувствовал, как устал уже от всей грязной,по-особенному тревожной дорожной жизни. И лагерь помянешь лихом, а уж этап...

Перед отправкой из тюрьмы, как всегда, был шмон.Солдаты действовали грубо, и я потребовал соблюдения правил, в которых сказано, что наказание не ставит целью унижение заключенного.Я часто тыкал всей ментовской своре в нос эти слова из кодекса, но помогало мало. Хотя и не возражали, даже оправдывались.А делали, как хотели.

И теперь вмешался лейтенант, молодой, полнолицый, глаза с поволокой. "А что это у вас - витамины? Не положено. Для здоровья нужно? Так мы для вашего же здоровья. Еще отравитесь, а нам отвечать. Нет-нет, по правилам нельзя. Вы же законы знаете, вон как говорите. И ложки нельзя из нержавейки, выдадут вам алюминиевые в Красноярске, не волнуйтесь. Выбросьте ложки (это к солдатам)!" И в таком духе продолжался этот шмон перед отправкой. Наконец снова вагон,снова отстук, выстук, вздрог, покачка, раскачка, свист, гул, рокот. Снова топотанье конвоя в коридоре,зэчий перекрик в клетках, щели над мутью стекла, а в щелях - небо и земля, зелень и синева, в щелях - воля. Конвой в этот раз попался неплохой. Два солдата из трех прямо-таки симпатизировали мне. Даже жаловались на своего сержанта. "Ты политический? За стихи? А что, пишешь и теперь? Прочти что-нибудь". Я прочел несколько осенних строк, несколько старых, армейских еще. Понравилось им на удивленье сильно. "Тебе ж печататься надо! Такие стихи, я осень увидел! Хорошо". Щель напротив моей клетки почти

все время была открыта. Я смотрел на Сибирь и находил ее совсем русской, просторной и тихой. Так прошло несколько дней, пока не добрались до Красноярска. Довольно быстро пришли за нами воронки. Солдат из красноярского конвоя сразу удивил тем, что предложил пачку чая за наличные - покупайте, мол. Такой торгашеский разворот красноярской охраны был мне несколько внове.Впрочем,я, в отличие от некоторых даже политзэков, был далек от подобных дел. Чего Бог не дал, того не дал. Между тем привезли в тюрьму. Меня снова повели в подвал и снова в одиночку. На этот раз с окнами все было в порядке. Я предвкушал одиночество. Первый вечер так и было. Но тюрьма имела недостаток - отсутствие канализации, по крайней мере, в подвальных этажах. Приходилось выносить парашу самому. И вот утром я поднял парашу, чтобы отнести ее, и отшатнулся. Под ней лежала дохлая мышь. Этих зверей, да еще сестер их крыс, я боюсь как огня. Я вызвал надзирателя.Пришла молодая женщина в форме и тоже дернулась вся. "И я их боюсь, сейчас позову девочек из хозобслуги". Девчонка-зэчка из хозобслуги со смехом подхватила мышь за хвост и сделала несколько рывков в мою сторону и даже в сторону надзирательницы. Мы с омерзением откачнулись. После чего они удалились, а я остался в камере, но уже в некотором беспокойстве - соседство мышей мне не улыбалось. Днем водили на оправку, и я заметил в гальюне несколько темных юрких теней, метнувшихся по углам, едва я вошел. А вечером меня, как назло, перевели в другую камеру как раз напротив гальюна, и начались мои мытарства. В камеру то и дело заскакивали то одна, то две мыши и нахально скакали у стола и около кроватей. Я отломал ножку от стола и попытался задвинуть тоненькую щель между полом и дверью. Но эти чертовы мыши в эту щель, куда и мизинца не просунешь, проникали, как резиновые, и нагло прыгали, катались и мелькали у двери. Я стучал, топотал на них, они шустрым катом тёмно промелькивали под дверь, а меня, как магнитом,тянуло смотреть туда, и через минуту-две, вправду, появлялся хвостатый комок, цепко скользил по отвесной двери наверх,скатывался вниз, крутился у двери, норовил ближе к столу. Я стал бить в дверь, звонить, кричать. Огромный надзиратель наконец явился на шум. "Здесь антисанитарные условия, мыши в камере". "Вот невидаль - мыши. Не съедят они тебя. А еще мужик". С этими словами проклятый амбал и ушел. Я остался с мышами. Не помню, как я и уснул, забравшись на самую верхнюю койку. К великому счастью моему, наутро подняли на этап - а вот куда, я теперь и не знал. В отстойнике шел разговор о страшных ссылках, где хуже еще, чем в лагере, где лесоповал и лесосплав. Один парень сказал мне: "Вот ты выйдешь, а денег-то нет. Ясное дело, кого-нибудь опять на уши поставишь". Я разубеждать его не стал.

Этап из Красноярска продолжался всего сутки. Но для меня он тянулся бесконечно, да я и не знал тогда, сколько он продлится. Особенно в этот раз раздражали проверки, которыми одолевал конвой каждые несколько часов. Когда среди ночи они опять ворвались в камеру, стали дубасить сапогами по нарам, по полу,косить прямо в глаза ярким жестоким фонарем, я не выдержал. "Вы палачи, вы пытаете, как фашисты. Ничего не положено - просто издевательство. Куда я денусь из этой клетки? Просто ведете себя,

как фашисты". Солдаты - здоровые, высокие парни во главе с сержантом, который очень походил на былинного богатыря - пошипели на меня: "Ладно, говорите вы много, всё по закону" - и ушли дальше, и я слышал их топот и стук в других клетках. Но утром сержант заявился к моей клетке. "Что же вы, гражданин, нас фашистами назвали, палачами. Какие мы палачи?" Его добродушное лицо Добрыни выражало огорчение, но говорил он с некоторой ядовитостью. "Вы-то сами день рождения Гитлера отмечали,а нас же еще фашистами ругаете". "Я не отмечал, посмотрите в деле внимательно". "Да мы посмотрели". "Нет,уж посмотрите как следует, я за свои стихи здесь". Сержант ушел. Однако в следующий раз,проходя, он оглянулся, посмотрел на меня внимательно, а через несколько минут, опять проходя, остановился. "Ну что, гражданин, скоро на место". "Да, видно, так. А куда везут, не знаете?" "Сейчас схожу, посмотрю". Он ушел и вскоре появился вновь. "В Эн-ский район". "Спасибо вам". Я крикнул по вагону - что за район,Эн-ский? "Да, хороший, - послышались голоса, - не холодно и работа всякая есть". А поезд шел все дальше, все больше углубляясь в Сибирь, в которой предстояло пробыть без малого два года.Потом на остановке привели в вагон хакаса, он, по его словам, ударил кнутом пастуха за какую-то обиду, и теперь ему грозила 206 статья, года два срока. Размашистый разлет скул, широкие глаза, крутая посадка плеч - так вот они каковы, хакасы, исконные сибирские жители! И впервые за весь этап ко мне в клетку вдруг подсадили политического - это был украинец-националист из 19-го лагеря, я его там видел издали, а знакомы не были. В клетке этапной и познакомились. Срок у него - 6 лет лагеря и 5 ссылки, и туда же,в Эн-ский. Это меня обрадовало, не одному лихо мыкать первое время (а позже я ждал в ссылку жену).

И вот остановка, нас выгружают. Газик уже ждет нас,тоже клетка на колесах. Я еще сдуру поздоровался с местными ментами.Мне, конечно, не ответили. И затрясся газик по камням и колдобинам Эн-ским. Привезли нас в КПЗ. Камера, как коридор, без окон,дыра вентиляции дрожит в стене. По стене нары, в углу параша. Да три зэка по хулиганке - местные. Один на старуху-соседку вилку поднял, когда пришла учить его уму-разуму пьяного в дым,другой бичевал, третий - пацаненок лет семи - грабил ларьки на предмет поедания конфет и пития лимонада. Его назавтра и выпустили. С другими двумя мы жили мирно. Целых четыре дня - с 29 апреля по 3 мая - нас держали в этой темной норе. Менты вели себя по-разному. Один издевался открыто, орал в кормушку: "Убивать вас надо, политиков сраных, возжаются с вами,лимонятся.Я бы вас вывез в лес и расстрелял на х..." В другой раз он орал: "Гитлер был молодец, правда? - ты, лысый (это ко мне). Молодец, я его всего одобряю, так и надо, под корень всю нечисть". Он особенно лютовал по утрам, сгонял с параши, злобно ругался.

Но и эти капэзешные дни прошли.К вечеру 3 мая 1973 года нас выпустили из КПЗ. Денег у нас не было (на этапе не положено), прислать должны были из лагеря. И вот,заплатанные,грязные,обремененные рюкзаками и чемоданами, мы вышли на улицу. Кончилась Мордовия лагерная, началась Сибирь ссыльная. Но об этом уже в в другой раз.

Сергей ДОВЛАТОВ

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Был чей-то день рождения, не помню... Собрались писатели,художники, так называемая - вторая культурная действительность.Хозяин в шутку предложил:

- Давайте объявим конкурс на лучшее... постановление.

Художник Енин[*] голосом знаменитого диктора Левитана произнес:

- Отмечая шестидесятилетний юбилей советского государства, ленинский центральный комитет выносит постановление: "НЕЛЬЗЯ!.."

Слово взял поэт Антипов:

- Ленинский центральный комитет постановляет также: "За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина - наградить орден Ленина орденом Ленина!"

Высказался и прозаик Машков:

- В целях дальнейшего усиления конспирации группком инакомыслящих постановляет...

Машков дождался полной тишины, оглядел собравшихся и хмуро закончил:

- Именовать журнал "Континент" журналом "КонтинГент"...

Кто-то рассмеялся. Я задумался.

Действительно, конспираторы мы неважные.

Звонит приятель:

- У тебя есть... ну, этот... "Дед Архип и Ленька"?

---

[*] Фамилии искажены до неузнаваемости (авт.)

- Нет, а что?

- Достань. Можешь достать?

- Да зачем тебе? Ты, что, Горького перечитываешь?

- Какой ты, ей богу!.. Да "Архипелаг" мне нужен, "Архипелаг ГУЛаг", по-нашему - "Архип"...

Ведь знаем, что телефонные разговоры прослушиваются. Ведь обыски были у знакомых. Кто-то работы лишился, а кто-то и сидит...

Вот уже третий год я читаю одну нелегальщину. К обычной литературе начисто вкус потерял. Даже Фолкнера не перечитываю.Линда Сноупс, мулы, кукуруза... Замечательно, гениально, но все это так далеко...

Снабжает меня книгами, в основном, писатель Ефимов. То и дело звоню ему:

- Можно зайти? Долг хочу вернуть...

Наконец Ефимов рассердился:

- Мне тридцать человек ежедневно звонят, долги возвращают... Меня же из-за вас посадят как ростовщика... Придумайте что-нибудь более оригинальное...

В "Континенте" появляется мой рассказ. Об этом знают все. Да я и не скрываю. В борьбе тщеславия с осторожностью побеждает тщеславие.

Заглянул на книжный рынок. Хожу, присматриваюсь. Мелькнула глянцевая обложка "Континента". Так и есть, одиннадцатый номер. Мой. С моим бессмертным творением.

- Сколько? - интересуюсь.

Маклак, оглядываясь, шепчет:

- Тридцать...

Затем, нахально усмехнувшись, добавляет:

- А с автора - вдвойне!..

"Континент" в Ленинграде популярен необычайно. Любым свиданием, любым мероприятием, любой культурно-алкогольной идеей готов пренебречь достойный человек ради свежего номера. Хотя бы до утра, хотя бы на час, хотя бы вот здесь перелистать...

Вспоминается несколько занятных историй. И даже в каком-то смысле показательных.

"Континент" стал печатать записки Лосева.В одной из глав был упомянут редактор детского журнала Сахарнов, функционер и приспособленец. (В Ленинграде шутили: "Почти однофамилец, "НО" мешает...") В записках говорится, как редактор журнала наедине с Лосевым превозносил Солженицына. Печатая, естественно,в своем журнале разных там Никольских и Козловых...

Как-то захожу в редакцию. Навстречу Сахарнов.

- Привет, - говорит, - есть разговор.

Заходим к нему, садимся.

- "Континент", где обо мне написано, читали?

- Нет, - солгал я.

- Читали, читали... Я же знаю... В коридоре Пожидаевой рассказывали...

Редактор вздохнул, снял трубку, положил на кучу гранок.

- Как вы думаете, может у нас что-то измениться?

- Где, в редакции?

- Да не в редакции, а в государстве.

- Вряд ли, - уныло сказал я.

Тут же опомнился и добавил с большим подъемом:

- Никогда.

- А я не исключаю, - задумчиво произнес Сахарнов, - не исключаю... Экономика гибнет, сельское хозяйство загнивает... Не исключаю, не исключаю... Я этот номер "Континента" буду хранить... Я у Лосева справку возьму...

- Какую справку?

- Что я восхищался Солженицыным. Вы полагаете, не даст мне Лосев такой справки? Даст. Он честный, непременно даст. И буду я по-прежнему редактировать журнал. А вы - короткими рецензиями перебиваться, - закончил Сахарнов.

Помню, меня его цинизм даже развеселил.

Был у меня знакомый юрист. В последние годы - социолог. Выгнали из коллегии адвокатов. Кого-то не того рвался защищать. Хороший человек, однако пьющий. Назовем его Григоровичем.

Взял у меня однажды Григорович номер "Континента".

- Домой, - спрашиваю, - едешь?

- Домой, прямым ходом, не беспокойся...

- Смотри, поосторожнее...

По дороге Григорович встретил знакомого. Заглянули в рюмочную - понравилось. Потом зашли в шашлычную. Потом на лавочке в сквере расположились...

Очнулся Григорович в вытрезвителе. Состояние - как будто проглотил ондатровую шапку. Портфель отсутствует. А в портфеле - номер "Континента"...

Слышит: "Григорович, на выход!"

Выходит из камеры. Небольшой зал. Портрет Дзержинского,естественно. За столом капитан в форме. Что-то перелистывает. Батюшки, "Континент" перелистывает...

Григорович испугался. Стоит в одних трусах...

- Присаживайтесь, - говорит капитан.

Григорович повиновался. Сиденье было холодное...

- Давайте оформляться, Григорович. Получите одежду, документы... Шесть рублей с мелочью... Портфель... А журнальчик...

- Книга не моя, - перебил Григорович.

- Да ваша, ваша, - зашептал капитан, - из вашего портфеля...

- Провокация, - тихо выкрикнул обнаженный социолог.

- Слушайте, бросьте! - обиделся капитан. - Я же по-человечески говорю. Журнальчик дочитаю и отдам. Уж больно интересно. А главное- всё правда, как есть... Все натурально изложено..; В газете писали: "антисоветский листок..." Разве ж это листок? И бумага хорошая...

- Там нет плохой бумаги, - сказал Григорович, - откуда ей взяться? Зачем?

- Действительно, - поддакнул капитан, - действительно... Значит, можно оставить денька на три? Хотите, я вас так отпущу? Без штрафа, без ничего?

- Хочу, - уверенно произнес Григорович.

- А журнал верну, не беспокойтесь.

- Журнал не мой.

- Да как же не ваш?!

- Не мой. Моего друга...

- Так я же верну, послезавтра верну...

- Слово офицера?

- При чем тут - офицера, не офицера... Сказал, верну,значит, верну. И сынок мой интересуется. Ты, говорит, батя,конфискуй чего-нибудь поинтереснее... Солженицына там или еще чего... Короче, запиши мой телефон. А я твой запишу... Что, нет телефона? Можно поговорить с одним человеком. Я поговорю. И вообще, если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, говори: "Везите к Лапину на улицу Чкалова!" А уж мы тут разберемся. Ну,до скорого...

Так они и дружат. Случай, конечно, не типичный. Но подлинный...

Дело было в шестидесятом году.

Жил в Ленинграде талантливый писатель Успенский. Не Глеб и не Лев, а Кирилл Владимирович. И жил в Ленинграде талантливый по-

эт Горбовский. Его как раз звали Глебом. Что, впрочем, не существенно...

Был тогда Горбовский мятежником, хулиганом и забулдыгой.

А Кирилл Владимирович - очернителем советской действительности. В прозе и устно. (Над столом его висел транспарант: "Осторожнее. В этом доме аукнется - в Большом доме откликнется!")

Однажды Горбовский попросил у Кирилла Владимировича машинку. Отпечатать поэму с жизнеутверждающим названием "Морг".

Успенский машинку дал. Неделя проходит, другая. И тут Кирилла Владимировича арестовывают по семидесятой. И дают ему пять строгого в разгар либерализма.

Отсидел, вышел. Как-то встречает Горбовского.

- Глеб, я недавно освободился. Кое-что пишу. Верни машинку.

- Кирилл! - восклицает Горбовский, - плюнь мне в рожу! Пропил я твою машинку! Всё пропил! Детские счеты пропил! Обои пропил! Ободрал и пропил, не веришь?!

- Верю, - сказал Успенский, - тогда отдай деньги. А то я в стесненных обстоятельствах.

- Кирилл! Ты мне веришь! Ты мне, единственный, веришь! Дай я тебя поцелую! Хочешь, на колени рухну?!

- Глеб, отдай деньги, - сказал Успенский.

- Отдам! Всё отдам! Хочешь - возьми мои единственные брюки!Хочешь - последнюю рубаху! А главное - плюнь в меня!..

Прошло десять лет. Горбовский разбогател, обрюзг.Благоразумно ограничил свой талант до уровня явных литературных способностей. Стал, что называется, поэтом-текстовиком. Штампует эстрадные песни.

Как-то раз Успенский позвонил ему и говорит:

- Глеб! Раньше ты был нищим. Сейчас ты богач. И к тому же не пьешь. У тебя полкуска авторских ежемесячно. Верни деньги за машинку. Хотя бы рублей сто.

- Верну, - хмуро сказал Горбовский.

Прошло еще два года. Терпенью наступил конец. Успенский снял трубку и отчеканил:

- Глеб! У меня в архиве около двухсот твоих ранних стихотворений. Среди них есть весьма талантливые, дерзкие и, мягко говоря, аполитичные. Не привезешь деньги - я отправлю стихи в "Континент". Уверяю тебя, их сразу же опубликуют. За последствия не отвечаю...

Через полчаса Глеб привез деньги. Мрачно попрощался и уехал на какой-то юбилей.

Его талантливые стихи всё еще не опубликованы. Ждут своего часа. Дождутся ли...

Сентябрь. Вена. Гостиница "Адмирал". На тумбочке моей стопка книг и журналов. (Первые дни, уходя, механически соображал, куда бы запрятать. Не дай Бог, горничная увидит. Вот до чего сознание исковеркано.)

Есть и последний номер "Континента". Через неделю он поедет в Ленинград со знакомым иностранцем. В Ленинграде его очень ждут.

сентябрь 1978 года
Вена

Этим летом в Вену была выброшена из Ленинграда целая группа писателей: прозаик и переводчик Кирилл Успенский (Косцинский), прозаик и публицист Игорь Ефимов, поэт Игорь Бурихин, искусствовед Елена Варгафтик, прозаик Вадим Нечаев. Хлебнув напоследок свою долю дополнительных неприятностей, оказался в Вене и Сергей Довлатов, в защиту которого немало писалось на Западе.

Владимир МАРАМЗИН

ВРЕМЯ И МЫ

ОБЗОР

Так случилось, что этот обзор не был напечатан в свое время. С тех пор, как он был написан, вышло еще два десятка книжек журнала "Время и мы". И можно сказать, что интерес к нему постоянно растет. Можно заметить также, что как достоинства, так и просчеты журнала остаются приблизительно теми же, что и прежде. Но - и это любопытно - оставаясь тем же, каким он себя заявил в первый год жизни,журнал доказывает, что все его качества были не случайны. Это означает, что редакторы имеют в голове образ своего издания и настойчиво осуществляют его, а кому не нравится - пусть осуществляет свой. При такой последовательности сами просчеты переходят в достоинства. И потому мне нечего добавить к общей оценке журнала, хотя в нем появилось еще немало интересных публикаций. Ясно, что любое периодическое издание в Советском Союзе сегодня даже не мечтает ни в свободе, ни в разнообразии целого, ни в качестве отдельных вещей сравниться с лучшими зарубежными журналами,к которым можно вполне добавить теперь "Время и мы".

В.М.

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Журнал - всегда чудо. Не всякое собрание текстов, даже хороших, будет журналом. Например, "Новый мир" был журналом в самом абсолютном смысле этого слова, хотя печатал много чепухи. А вот "Москва", даже напечатав один из лучших романов наших дней - "Мастера и Маргариту", да еще пустив следом остро политического Тендрякова, журналом так и не стала, даже на те два шумных, недоставаемых номера. Из чего складывается это единство, имену-

"Время и мы". Иллюстрированный журнал литературы и общественных проблем. №№ 1-14. Гл.редактор Виктор Перельман.

емое журналом, сказать трудно. Из единообразного мировоззрения? Ничего не может быть скучнее. Из замечательных или полузамечательных произведений литературы, напечатанных внутри его страниц? Лишь частично. Представьте себе журнал из шедевров,где нет просвета между прекрасной прозой, ибо в промежутке еще лучшие стихи, где сплошные Толстоевские и Тургении (по выражению разных сатириков) - это будет не журнал, это будет антология, то есть нечто вовсе иное. Журнал есть некий живой организм, и это качество - то, что он живой,возбужденный,заинтересованный,пусть даже захлебывающийся поспешными скороговорками от невозможности промолчать и невозможности ждать, пока отстоится, - это и есть в нем самое важное. Рискуя рассердить просвещенного читателя, признаюсь, что "Октябрь" кочетовского времени был,на мой взгляд, вполне журналом (при всем отвращении к его позиции и текстам),а более пристойное и сглаженное "Знамя" никакого представления о журнале никогда не вызывало.

Журнал всегда процесс, каким бы он ни был. И один из самых страшных грехов советской литературной политики есть старательное изгнание из жизни литературы всего, что говорит о существовании процесса. Изгонять не столько правду, не столько критику зла (иногда ее можно даже впустить с самого краю), но до дыр протирать цензурной резинкой страницы, чтоб не пропустить какой веселой глупости, которой живут нынче люди. Послезавтра ей уже можно дать место, да послезавтра над ней никто не оживится.И на это-то живое у наших литературных распорядителей всегда было точное звериное чутье.

Тем более приятно читать здесь журнал, который всеми четырьмя лапами вляпался в процесс и елозит в нем в свое удовольствие, мало заботясь о конечной истине, одобренной хранителями вкуса и хороших манер. Я говорю о журнале "Время и мы", единственном сегодня ежемесячном русском литературном журнале в зарубежьи. Он исправно выдает подписчикам по номеру в месяц, и читать его всегда интересно, несмотря на неровности, на некоторые трюки с целью привлечь внимание и не всегда достаточный вкус.

часть целого

Новый журнал издается в Израиле, но на русском языке. Это определяет некоторые его особенности. Главной же является, повторяю, не желание очертить некоторое групповое направление, а стремление выразить процесс, который состоит в реализации литературы, десятилетиями вытесняемой на родине, и в произнесении всех тех вещей, о которых на родине не принято было говорить - иногда не принято даже и в неофициальной среде. Не последнее место занимает тут еврейский вопрос, и это понятно. Стоит лишь представить себе множество интеллигентных людей,выросших внутри русского языка и культуры, а теперь выехавших за ее очертания (верней, испугавшихся, что они из нее уехали). Происходят разные переходные явления, ищутся новые ценности или, напротив, утверждаются с горячностью прежние, оспариваются национальные рамки - и выражаются обиды в отношении тех, кто не успевает за всем этим следовать.

Но куда более важной чертой этого журнала представляется другая: ориентация на Россию, что естественно для журнала на русском языке.Тип журнала, ориентированного на Россию, не был придуман Виктором Перельманом, но "Время и мы",поначалу не вполне это сознавая, а постепенно все более сознательно, обращает всего себя туда, назад - а на самом деле вперед, ибо не раз говорилось людьми, умеющими смотреть в будущее: если в России что-то переменится, весь мир станет другим.

"Время и мы" ищет и находит связи с нынешним самиздатом,который ходит по русским и еврейским домам России, печатает его, откликается на него, учитывая свои, не вполне совпадающие с другими журналами читательские круги. Журнал "Время и мы" и определенная часть самиздата уже образовали собой сообщающиеся сосуды, хотя пути сообщения часто неведомы им обоим. И здесь, как мне кажется, второй факт надежды на успех журнала. Как ни странно, но иногда еще приходится повторять очевидное: малая многонациональная Россия, разбросанная по городам и весям Запада,является неотъемлемой частью большой России и только тем и жива, что она часть, потому и нужна той, большой, что - часть, и если кому-то чем-то интересна на Западе, то именно как часть единого целого.

библиотека для чтения

Журнал "Время и мы" подчеркнуто озабочен давать своим читателям непрерывное чтение.Ежемесячно по двести с лишком страниц, точно к сроку,перемололи за это время немало разной литературы.

Чтение - это прежде всего проза. Начав с отличного перевода романа Кестлера "Тьма в полдень" (№№ 1-2), журнал начал перебирать как известных писателей (русский Виктор Некрасов, "Персональное дело коммуниста Юфы" в № 5, поляк Марек Хласко, "Обращенный в Яффо" и рассказы в №№ 11-12, израильтянин Авраам Иошуа, "В начале лета - 1970" в № 10, англичанин Киплинг, рассказ "Евреи в Шушане" в № 3), так и представлять нам новых авторов. В первых четырнадцати номерах появилась проза Бориса Хазанова,которого журнал представляет в качестве главного своего открытия (№№ 5, 6, 9); повесть Зиновия Зиника "Извещение", № 8, и в этом же номере неизданные главы из очень известной на Западе книги Юлия Марголина "Путешествие в страну Зе-Ка" (1952, переиздана в 1976), одной из лучших предшественниц солженицынского "ГУЛага", а с 13 номера начинается печатание его же книги "Сентябрь,1939", рассказы Михаила Шульмана в № 6 (один из них, "Реб Нухем" - едва ли не лучший из тюремных рассказов бутырских времен) и других. Номера 13 и 14 полны прозы, и весьма интересной. Здесь напечатана повесть Бориса Ямпольского "Большая эпоха" (№ 13) - раньше мы знали его воспоминания в "Континенте", переведенные с иврита рассказы Цви Луза и Джона Орбаха и, наконец, проза оттуда, из России: повесть Бориса Вахтина "Ванька Каин" и два рассказа Сергея Довлатова (№ 14).

Большинство авторов не так давно покинули Россию (Некрасов, Зиник), иных уже нет в живых (Ямпольский, Хласко, Марголин),мно-

гие рукописи пришли из самиздата, а их авторы живут в России (Хазанов, Вахтин и другие).

Виктор Некрасов всегда радует свободой рассказа (иногда кажется, что в нем пропадает рассказчик для детей) и той простотой, с которой в его прозу включаются темы и предметы, которые у других выпадают, не помещаясь ни в рамки реализма, ни в сложные очертания концептуальной прозы. Рассказ "Персональное дело коммуниста Юфы" еще раз демонстрирует это его свойство.

О романе Артура Кестлера знает весь мир, он долго ходил в самиздате в доморощенных переводах, и вот теперь наконец можно прочесть его напечатанным по-русски. Основанный на материале наших открытых процессов 30-х годов, он поразительно угадал механику обработки жертв перед закланием. Мотив единения палача и жертвы ставит этот роман в один ряд с русской литературой. Теперь же, изданный по-русски, он наверняка в нее войдет, как не раз бывало с иностранцами (хотя бы с Мопассаном, до сих пор любимым в России и почти уже не читаемым на родине, где его заменил наш Чехов).

Совсем иная проза Марека Хласко, известного польского писателя, эмигрировавшего на Запад в 1958 году (покончил с собой в 69-м). Масса юмора уже делает ее замечательным чтением,хотя это, в сущности, совсем не веселая проза. Мне представляется в ней главным то, что она раздвигает рамки наших представлений о людях, о пределах человеческого падения, об остатках хотя бы вкуса, который есть у каждого, как бы низко он ни пал. Впрочем,может быть, это славянская черта? Замечательно пишущий Генри Миллер именно тем и неприятен, что вопрос о мере падения у него не стоит. Кстати, и в нашей авангардной прозе последнее время появились попытки стереть эстетический низ и выйти тем самым за пределы русской литературы - якобы в мировую, "на европейский уровень". Боюсь, что это горькая неудача. Есть, конечно,и обратные примеры - повесть Ерофеева "Москва-Петушки" (ИМКА-пресс,Париж, 1976). Ерофеев и Хласко не знали друг друга, но многое их сближает.

Мне понравилась повесть известного израильского писателя Авраама Иошуа "В начале лета - 1970". Она открывает нам новый материал, изнутри рассказывая об Израиле, о котором мы много знаем из газет, чтобы не знать, в сущности,ничего,ибо таково свойство газет: обращать существующее в совершенно непредставимый миф, пригодный, однако, для ежедневных выкладок (вроде мнимых чисел). Убитый - или еще нет? - сын израильского старика,его ребенок "с мягкими глазками", молодая жена, сама полуребенок, зачем-то приехавшая из далекой Америки сюда, с ребенком в рюкзаке, чтобы здесь овдоветь, - и жара, на фоне которой происходит вся эта нескончаемая война с нечастыми, но не менее страшными от того смертями.

Из молодой (что ли) прозы журнал более всего гордится двумя открытыми им именами: Зиновий Зиник и Борис Хазанов.

Повесть Зиника "Извещение" действительно большая удача для журнала. Кроме прочего, она демонстрирует, что от географических перемещений (в результате начальственных толчков) писатель не всегда теряет, но иной раз и обогащается. Атмосфера Иеруса-

лима вошла в эту вполне русскую прозу, расширив бытовой рассказ о расставшейся семье до мифа о нашей общей неустроенности. Впервые я читал Зиника в самиздате. И тогда, как и теперь, основной радостью было - вновь читать языковую прозу. Немало даже хороших вещей пишется как бы вне языка, когда язык является не источником постоянного авторского наслаждения, а лишь объектом досады, когда необходимо лавировать между повторяющимися "что" и "который" да подбирать сравнения позаковыристей. У Зиника - как и вообще в хорошей прозе - язык непрерывно радует смысловыми сдвигами, сближением "далековатых понятий", вбиранием в себя различных языковых слоев. Язык у Зиника не просто средство для пущей выразительности, но приближается к тому, чем язык и должен быть в прозе: равноправным (или даже старшим) партнером сюжета, основной режиссурой, ибо именно язык отличает литературу от прочих искусств. Несколько примеров, наудачу: "акушер новой жизни, повивальная бабка человечества, беременного нашей нацией"; "И в этом учреждении будет гореть свет, перед которым все равны"; "историческая родинка".

Хазанов удивительно разнороден, словно под этим именем пишет недружный коллектив авторов. На мой взгляд, совершенно неудачен рассказ "Частная и общественная жизнь начальника станции" (№ 9), я остался равнодушен к разрекламированной журналом "еврейской прозе" повести "Час короля" в № 6 (чисто и грамотно изложенная легенда с некоторой попыткой вывести общую мораль, - не слишком, впрочем, назойливой), но в повести "Глухой, неведомой тайгою" (№ 5) почувствовалось подлинное волнение автора, его настоящий материал, с его настоящим мироощущением. Лагерный и прилагерный быт написаны с чувством подлинного присутствия, конец же выводит повесть за быт, превращает в легенду. В нынешней ситуации никогда нельзя знать наверное, что написано прежде, что позже. Самиздатский автор бьет ключом, когда находит не притворенную щель. И все же мне кажется, что с "Начальника станции" Хазанов начинал, придя уже затем к "Тайге". К сожалению, бóльшая легкость и навык заставляют предположить, что "Час короля" написан позже. Это было бы жаль. Тогда это говорило бы о том, что несомненно одаренный автор движется в сторону логических построений с намерением радовать некий групповой вкус.

О Марголине, несомненно, надо говорить как о прозаике, хотя обе его вещи в журнале являются воспоминаниями. Простота и точность письма, а также совпадение личной биографии с главными сюжетами времени делают эти вещи прозой. Особый интерес вызывает сегодня "Сентябрь, 1939" - "освобождение" советскими войсками в 1939 году Западной Украины и Западной Белоруссии. Случайно оказавшийся в Польше человек из Палестины, у которого все визы в порядке, будет оторван от дома, наблюдая мгновенное крушение Польши, превращение свободных людей в подсоветских и, наконец, массовое перемещение "освобожденных" в сибирские лагеря (вместе с автором). Мы много об этом наслышаны, но вряд ли можем представить, в каких простых и бытовых формах происходит постепенное заглатывание свободы. Сперва падает курс прежних денег (территория пока стоит отрезанной и от Польши, и от СССР), потом однажды утром их вовсе отменяют, а новых почти не дают - равенст-

во, кончаются старые запасы товаров, других не привозят (у победителей у самих нету - братство), начинаются чистки, предлагается выбор: принять или погибнуть - свобода, и заканчивается "канализацией" негодного для новой жизни материала - несогласных, сомнительных и вообще каждого пятого, для пользы государственности. Хотелось бы дать это чтение всем европейцам, пока еще свободным. У нас все будет иначе, говорят сейчас в Европе. Конечно! Многие поляки и польские евреи еще за неделю до "освобождения" баловались социализмом и считали, что у них-то будет все по-другому. Если б книги приносили хоть какую-то практическую пользу!

Ленинградец Сергей Довлатов мужественно начал печататься на Западе ("Континент № 11, "Время и мы" № 14). Если живешь в Ленинграде, это особенно опасно. Ленинградское КГБ старается компенсировать свою бездарность утроенной жестокостью. Писателя Михаила Хейфеца всего лишь за недоказанное намерение опубликовать статью-предисловие к стихам Бродского бросили на четыре года в лагерь строгого режима. Рассказы Довлатова полны юмора - этого особенно не терпит наша власть, как всегда бывает перед концом империй. Однако я понимаю Довлатова. Написанные вещи все равно существуют в мире, ими пропитывается воздух, и они не менее опасны, если даже не напечатаны (тот же Хейфец). Мне было радостно читать здесь эти рассказы, знакомые еще в Ленинграде. Возвращение в литературу подробности (по советским меркам "мелкотемье", "инфантилизм"),столь прославившей литературу 20-х и начала 30-х годов, самоценность юмора как наиболее очеловеченного инструмента познания и вместе с тем извечная петербургская печаль ("город пышный, город бедный"), а также некоторое - согласен,что досадное - небрежение к постройке здания сюжета (которые так характерны, вместе или порознь, для ленинградской прозы, начиная, скажем, с Леонида Добычина, а потом, с перерывом в 30 лет,с Вахтина) вполне присутствуют у Довлатова, даже в этих, отнюдь не "петербургских" историях (лагерь глазами солдата-цырика). Я бы добавил к этому, как чисто довлатовскую особенность, геометрический юмор (начатый в свое время Геннадием Гором и закрепившийся у Довлатова в ином, более человеческом виде, чем у других),а также хорошее ухо на звукоречь - чего уж никак нельзя подделать, будь ты хоть трижды классицистом или четырежды авангардом.

С особым, личным волнением прочел я в 14 номере повесть Бориса Вахтина "Ванька Каин". Пришедшая из самиздата и напечатанная без согласования с автором, эта повесть, написанная более пятнадцати лет назад, вероятно, не лучшая вещь Вахтина. Однако она полнокровная часть его прозы, с которой, пожалуй,и началось то, что называют теперь ленинградской школой.

В конце 50-х годов было два совершенно разных, но всеми признаваемых за лучших прозаика в Ленинграде: Виктор Голявкин и Борис Вахтин. Кажется, в 60-м году мы все прочли повесть Вахтина "Летчик Тютчев, испытатель", которая затем образовала цикл "Три повести с тремя эпилогами" вместе с повестями "Ванька Каин" и "Абакасов - удивленные глаза". Краткая, отжатая проза Вахтина для многих (и для меня) стала настоящей школой. За 20 лет работы в литературе лишь три рассказа и два отрывка Вахтина проби-

лись в советскую печать (хотя он давний член союза писателей,по секции перевода - с китайского). И вот впервые перед нами его повесть, напечатанная в журнале.

Типографский набор (пусть это даже нынешний облегченный композер) неуловимо меняет каждую вещь. Чаще всего он снимает флер запретности и ставит любые страницы в привычный литературный ряд. Я перечел "Ваньку Каина" - после, вероятно,семилетнего перерыва: "У серого дома в Упраздненном переулке четыре стены и крыша нараспашку... Ты, Стелла, когда-нибудь мать, а сейчас красота до испуга... Профессор, выбритый, как факт, с историей России в голове и сердце, и оттого с поступками татарскими, польскими и костромскими". Для меня это не чтение. Это родина.Я снова дома - куда более, чем если бы географически.

На мой взгляд, ни время, ни печать не изменили повести. Да, может быть, есть излишек молодого духа противоречия. Многие фразы написаны так, что угадывается предварявший их полемический трамплин. Да, слишком любит автор жизнь, со всеми ее молодыми веселыми глупостями, как это бывает в молодости. С годами возникает привычка усмешки над этим. Конечно, есть излишняя недосказанность, отжатость, расчет на то, что недосказанное и так всем известно и навязло.

Но во всем этом огромное доверие к человечеству, словно к лучшему единомышленнику. И эта телеграфность - ограничение от богатства, потребность отбора. Две важные вещи привлекают меня в Вахтине. Прежде всего, тот факт, что разговор ведется на языке, непонятном правительствующему режиму, законодателю всех языков внутри страны. Это не эзопов язык, не стремление воткнуть незаметно и больно в сокровенное место. Это просто другой язык. (Заметим в скобках, что таково же главное свойство наших больших поэтов, от Ахматовой и Мандельштама до Бродского.) Второе, что меня всегда удивляло в Вахтине в прежние годы, - его ощущение себя хозяином этой части суши. Лишенный политической активности, почти всякой самодеятельности, движения вдоль географических ценностей, живущий под угрозой и не печатающийся писатель - тем не менее весел и уверен, ибо он настоящий хозяин языка, то есть культуры (где язык главная часть), то есть,в конечном счете, своей страны. С такой позиции начальство просто жаль: его положение хуже, чем татарских нашельцев, оно чужое в собственной стране.

Журнал "Время и мы" довольно широко заявил себя как разносторонняя библиотека современного русскоязычного чтения. Не вычленяя сугубых единомышленников, редакция захватывает широко, стремясь, по возможности, лишь к литературному интересу.Во многих случаях это ей удается.

ИЗВЕСТНЫЙ МЕСТНЫЙ КИФАРЕД, КИПЯ

Ах, стихи. Ничего нет более досадного для редакций, чем непрерывный поток поступающих стихов, с обидчивым автором на конце каждого. Стихи пишут все, кроме тех, у кого хватает вкуса их не писать. В России, в сущности, это не профессия. Но весь этот

поток совершенно необходим, хотя бы от поэта осталась в итоге строка или несколько слов, необычно сочетавшихся. Стихи в России расходятся на безымянные поговорки. Не знаю, как в других культурах, но в русской именно стихи первыми закрепляют летучие ритмы, в которых живет современное им поколение. Русская проза, как известно, всегда шла следом за поэзией. Вскользь брошенная поэтом (Пушкин) мысль, строка рождала целые романы (Достоевский). Говорят, что никто, кроме русских, не хранит в памяти такого количества стихотворных строчек (часто случайных). Представьте сложность подготовки шпионов: мороз и солнце, день чудесный - невидимкою луна - и в воздух чепчики бросали - не такой уж горький я пропойца - я глуховат, я, Боже, слеповат - а мать грозит ему в окно.

Досадуя на обилие стихов, не в силах разобраться среди нашествия новых имен, русские редакции всё же не смеют отказаться от стихов, хороших и разных.

В четырнадцати номерах "Времени и мы" напечатались три десятка поэтов. Иные имена проходят сквозь несколько книжек, другие мелькнут лишь в одной. Из поэтов известных за это время появились по разу Наум Коржавин и Александр Галич. Из номера в номер печатаются Лия Владимирова (№№ 2, 9, 11), Анри Волохонский (№№ 6, 9, 12), Борис Камянов (№№ 9, 14) - все трое теперь в Израиле, Алексей Хвостенко (№№ 7, 13), вырвавшийся наконец на Запад (не без помощи "Времени и мы").

Для многих мелькнут имена, появления которых они давно ждали. Я, например, был рад встретить в 7-м номере первую публикацию живущего в Москве поэта и художника Анатолия Жигалова.

Всегда интересны были статьи (и стихи) Ильи Рубина (№№ 6, 9), раннюю смерть которого не так давно оплакала редакция. И хоть в болезни и смерти мы все не вольны, но всегда испытываешь в таком случае чувство общей вины: не сохранили. Так было при известии о смерти Рубина, так было с ленинградцем Леонидом Аронзоном, погибшим несколько лет назад (но не осенью 75-го, как пишет редакция, а раньше). Его стихи,пожалуй,впервые увидели свет в пятой книжке "Время и мы" (и затем в "Аполлоне-77").

Большинство стихотворных публикаций, конечно, не представляют автора в полный рост, особенно автора нового. Поэтому трудно говорить о них,как можно было бы говорить о больших подборках или сборниках. Но журнал делает важное дело. Никого,разумеется, не открывая (как бы это следовало по советскому словоупотреблению), он дает возможность свободно печататься и развиваться тем, кем, возможно, и он, и мы все будем со временем гордиться.

Но и сейчас уже можно сделать пробежку по страницам со стихами и многому обрадоваться.

Сам себе удивляясь, трудно размышляет в 1-м номере Коржавин ("Поэма существования"), привыкший в другое время к точным,легко возникающим формулам своих стихов.

Весь в своих любимых сближениях (в темном плаще, мимо показательной аптеки) наполняет свои баллады красивыми, московскими словами грассирующий Галич (№ 2).

Одним дыханием,без точки, проборматывается Волохонский,лукаво промахиваясь словами мимо смысла и выявляя при этом совер-

шенно новые смысловые пласты, обнаруживающиеся именно "по взаимной неточности языка и мысли"(Ф.Сологуб). Видно, что дьявольски умен и язвителен, но и нежен в самой сердцевине стиха.

Аронзон: "В себе - по пояс, как в снегу - по пояс". Схождение в себя, схождение в каждую вещь, как в себя, хождение по краю себя самого, за которым начинается ничто,едва растепленное присутствием человека.

Разветвленные начертания всё умеющего Хвостенко, не допускающего открыть лицо и показать минутное переживание.

Разве этого мало для полутора десятков журнальных книжек? А кто-то другой, при такой же пробежке, отметит свое, близкое ему. А позже "Время и мы" встретится и с Бродским, без которого уже невозможно сегодня говорить о русской поэзии.

А за всем тем еще и многие другие: вторые русские стихи.Это определение не содержит оценки и совершенно не обидно при наличии в русской поэзии только этого века таких имен как Хлебников, Есенин, Ахматова, Цветаева, Ходасевич, Мандельштам, Введенский, Пастернак, Бродский. Гении пробиваются и сквозь варварство, но вторые литературные пласты способна бережно хранить лишь культура.

Вторые русские стихи - это бормотание культуры для самой себя. Но чу - она проговаривается вслух, и можно заслушаться.

Первая поэзия легко и даже охотно впитывает чуждые реалии, привлекает в стихи новые предметы. Вторая поэзия любовно затверживает нам уже знакомые описи, инвентарий, бестиарий.

Первая поэзия не ценит своих достижений, относится к удачам лишь как к средствам. Вторая умеет заметить,оценить и закрепить свои находки. Иногда вторая - законченней первой.

Вторые стихи сегодня - это стихи погоды,воды и деревьев при воде, презрения к веку, течения времени, птичьей болтовни, цветочного сора, они вешаются на шею и скорбят об утрате памяти. Вторая поэзия апокалиптична. Ее Апокалипсис - синоним смерти, ибо ничего страшнее смерти она не знает: расставание со стихотворством. Вторая поэзия любит Россию, хотя не всегда знает,что это такое. Всё хорошее для нее - Россия, и всё грустное - тоже.

Соединим наугад из нескольких разных поэтов:

Случайности, застывшие, как вечность
Звезда с небес и сладостный сонет
Садится солнце - одряхлевший лебедь
И тень моя ушла за мной вослед

Нет, нельзя не любить вторые русские стихи!

В качестве ложки дегтя не могу удержаться от критики названий, которые редакция иной раз присобачивает к стихам, создавая якобы циклы. Два стихотворения Волохонского в № 9 объединены под общим броским названием "Гвоздями забитые рты" - выхвачена строка из стихотворения, и выхвачена так неудачно, что получается некое обличение отсутствия свобод в Израиле (стихи об Израиле). Безвкусица всегда вознаграждается.

И еще я должен восстановить доброе имя москвича Евгения Герфа под хорошими стихами в № 13, отданными несуществующему однофамильцу Гефту.

Итак, можно сказать, что "Время и мы" стремится заполучить больших поэтов и любовно сохраняет попадающую к ней поэтическую волну, на которой восходят большие поэты.

СЛОВА, СЛОВА

О разделах, где журнал непосредственно обращается к читателю, говорить трудней всего.

С одной стороны, в России всегда существовало недоверие к прямо высказанной мысли. А последние десятилетия тем более поубавили доверия к разным говорениям: виртуозность советских публицистов (не откажешь) дошла до того, что вам повернут наоборот любую очевидную вещь. Роман, даже стихи, могут почитаться у нас занятием - д е л о м. Воспоминания художников, ученых, генералов, знаменитостей в своем занятии читаются взахлеб. Чистый же публицист либо неудавшийся писатель, решивший на склоне лет использовать набитую руку для общих рассуждений, для научения нас, как нам жить - по Ленину ли,по Пушкину, - встречается всегда с подозрением: мало ли чего можно наговорить (подсознательное уважение к форме и к трудному ремеслу единоборства с нею в желании выразиться).

С другой стороны, не может быть журнала, который не идет на разговор с читающей публикой и который не дает высказаться основным силам, пусть самым временным. Это ведь и составляет, в частности, воспетый нами процесс.

В журнале "Время и мы" несколько таких разговорных отделов: "Публицистика", "Философия и религия", "Из прошлого", "Письма и публикации". Названия их иногда меняются, они встречаются не во всех номерах, они сменяют друг друга, а некоторые статьи могли бы легко переселиться под другую шапку.

Темы самые разные. Тут и воспоминания о России, среди которых наиболее интересны отрывки из книги Виктора Перельмана "Покинутая Россия" (№№ 1, 2, 7, 8), рассказ Майи Улановской об истории одного политического процесса "Конец срока - 1976 год" (№№ 9, 10) и известная в самиздате рукопись Владимира Гусарова "Мой папа убил Михоэлса" (№ 12). Тема арестов, преследований,лагерей занимает, конечно, главное место, как и в жизни нынешней России: Наталия Михоэлс-Вовси "Убийство Михоэлса" (№ 3), Лидия Шатуновская "Загадка одного ареста" (№ 5), Д.Байкальский "Кашкетинские расстрелы (№ 11) и др. Много размышлений об эмиграции, ее причинах, смысле, наконец - о практических возможностях устройства на новом месте. Часто, читая, я ловил себя на желании бросаться спорить, возражать или, напротив, кидаться с кем-то срочно соглашаться. Потом всегда хочется засмеяться: издержки свободы слова. Самое страшное, что ведь напечатают, и эдак все силы и все время можно ухлопать на подобную перепалку. Жаль,конечно, что иной раз мелькнет неполная информация о жизни новых эмигрантов (Дов Шорх "Шанс, что дает Америка", № 1), словно нарочно пугающая беженцев Штатами, чтоб не ехали, хотя стоит перебрать лишь своих знакомых, чтоб огорчиться неправдой (только за последние годы художник и геолог Виньковецкий, журналист Ло-

сев, музыковед Орлов, математик Штерн, скульптор Нежданов и другие - все устроились там гораздо лучше, чем в СССР). А то вдруг мелькнут старательно запрятанные завистливые упреки новым эмигрантам - не интересуются западной культурой, пропадут без нее. Все самоутверждаются, как могут, и проще всего - поучая других тому, чему сам не выучился. Не за хваленой культурой едет сюда тот, кто вынужден уехать, а спасаясь от мучителей, в последней крайности, и мысли всех уехавших, естественно, дома, на родине. А перенять стóящее ни один российский человек никогда не отказывался.

Проблемам новых эмигрантов в журнале вообще уделено много места: вживаться или отъединяться, помогать приезжим или не помогать, бросая их в воду новой жизни, чтоб, барахтаясь, выучились плавать сами. Иные авторы ставят вопрос о благодарности и даже о наказании "неблагодарных": прекратить помощь беженцам,если они минуют страну, сделавшую им вызов (Борис Орлов "Пути-дороги "римских пилигримов", № 14). Это похоже на то, как если б старая дева, спасая кого-то из Освенцима, требовала взять ее за это в жены - из благодарности. Израиль помогает спасению очень многих людей, зачастую не имеющих и капли еврейской крови (да и кто это теперь разберет). И благодарность любого спасенного, я думаю, пребудет с ним навсегда. Отдать ее можно, живя в любом месте. Но ведь каждый человек свободен выбирать себе место для жизни - или это не так? Кажется, в декларациях записано именно это. Да и помощь новоприезжим в первые трудные месяцы,как мы выяснили на опыте, оказывают отнюдь не израильские организации, так что не о чем говорить. Но автор статьи хочет, чтоб и другие не помогали неблагодарным. Вот это уже нехорошо.

Вообще довольно часто в статьях журнала заметна подмена нормального здравого смысла неким возвышенным историзмом.Легко подниматься на вершины мозговой деятельности, чтоб из-за "общего масштаба" не увидеть страдающих "частных Макаров" (по выражению Андрея Платонова). Исторические задачи, исход, права человека, борьба с заразой тоталитаризма - и какие-то мелкие людишки в Остии, предместьи Рима, с их мелкими заботами, малыми ссорами, грязноватыми болеющими детенышами. Даже произнося "страдание", мы воображаем нечто, с бóльшим вкусом оформленное. Права человека нам дороже, чем сам человек. И это грех не одного "Время и мй". Живой человек с его заботами жилья и живота - раздражает. Сопровождающие эту жизнь не отглаженные языковые проявления вызывают отвращение и неприязнь. То ли дело (цитата из эмигрантских сочинений, некто М.Сергеев): "В быстро темнеющем небе распустилась трепетная почка первой звезды. На перекрестке - из-за стены спеющих колосьев, - вышел приятный на вид человек,приветливо поздоровался..." До чего культурно!

В грех историзма легко впасть, когда пишешь не о себе,а излагаешь соображения. Проза тут грешит куда менее - ведь она всегда о себе, на какие бы фигуры автор себя ни дробил. Прав израильский прозаик Иегошуа Бар-Йосеф, который пишет, что в вымысле оказывается больше правды (№ 12).

Но в последнее время в журнале стала появляться и другая публицистика, идущая от факта, а не от рассуждения,к которому фак-

ты подбираются. Как пример можно привести достаточно сенсационную, разоблачающую правительственные махинации статью Михаила Ледера "Афера, или Дело, которое тянется 22 года" (№№ 11-13). И ведь как ни странно, появление такой статьи в Израиле, при всех ее черных красках, вызывает к этой стране симпатию, какой не добились апологеты.

Среди лучших за это время следует назвать статью Б.Хазанова "Новая Россия". Несмотря на довольно приблизительный вывод-предложение о создании на просторах Запада русской колонии по типу Новой Англии или Новой Голландии, все остальное написано с такой болью за Россию, что мало кто не подписался бы под ней.

Таких статей, конечно, не много в журнале. Их и вообще мало. Но хочется вновь подчеркнуть живой характер этих отделов.Они дают место самым разным голосам, никого не пригибая к верной позиции. Из-за этого, правда, можно рядом читать поверхностные пророчества современного социолога (Зеев Кац "Завтрашний день человечества", № 4), и жесткие, но прекрасные страницы еврейского мудреца (Мартин Бубер в №№ 4, 6, 7 - по-русски впервые).

Две цитаты - для сравнения:

"На смену религиям, теряющим свое первенствующее значение по мере развития технологии и рационализма, должны прийти новые идеалы." (Зеев Кац)

"...совместное веселие души есть основа истинной человеческой общности." (Мартин Бубер)

Несколько разный уровень размышлений, не правда ли? Но давая место различным голосам, журнал озабочен лишь достаточной представительностью.А судя по всему, д-р Зеев Кац вполне блестящий представитель своей науки.

критика

Журналу "Время и мы" повезло: у него есть свой критик - Наталия Рубинштейн. В четырнадцати номерах прошли восемь ее статей, не считая мелких заметок. Без критики литературный журнал неполноценен, особенно если снова вспомнить о том значении, какое имел всегда этот жанр в нашей литературе. На основе критики культуры у нас возникли такие замечательные явления как Лев Шестов и Михаил Бахтин. Статьи Н.Рубинштейн тоже не являются простым литературным разбором. Для нее это форма, позволяющая говорить обо всем.

На библиотечной конференции в Москве провинциальная девушка-учительница жаловалась: "Что же получается, товарищи - в одном журнале хвалят, в другом ругают. Что мы должны говорить ученикам? Нужно печатать одну, но правильную рецензию". (К таким голосам из народа у нас охотно прислушиваются.) Не будем похожи на ту девушку. Не станем ждать от критика окончательных оценок.

Критик тычет нас носом в очевидное, он заостряет уклончивого автора, вытаскивает на свет Божий запрятанное, чего ты и сам в себе не знаешь, он застрельщик в борьбе за тебя самого.Критик должен иметь веселый насмешливый нрав и фантазию. Такого критика имеет журнал "Время и мы" в лице Н.Рубинштейн. Ее статьи об

Александре Галиче, Юрии Трифонове, Абраме Терце и Викторе Перельмане читаются одним духом. Из всей полемики (возьмем как пример) вокруг прогулок с Пушкиным, где почти одинаково противно было читать как взбесившихся недоброжелателей, так и вялых защитников, лишь статья Наталии Рубинштейн была полна - если не ума, так настоящей страсти (№ 9).

К сожалению, и ей можно сделать упрек. И она не избежала местных временных влияний (причина - климат). Тематический подход к литературе, да еще с арифмометром наготове для счета расклада персонажей вдруг сказался у критика, давно расставшегося с советской практикой. И сказался в определенном случае, применительно к больным национальным вопросам. Можно было бы предположить, что эти вопросы действительно настолько болезненны, что при разговоре о них трудно удержаться в рамках здравого смысла - если б тема антисемитизма не стала теперь столь модной. В последнее время, как грибы, выскакивают целые журналы, только о ней и толкующие, словно кто-то настойчиво выдвигает ее взамен более серьезных. Редакционное послесловие к смешной статье Марка Пераха в 4-м номере называется "Национальные комплексы или широта горизонта". Но и в статьях Н.Рубинштейн не раз широта горизонта вдруг сменяется этим "или". Впрочем,это относится к первым книжкам журнала. Можно предположить, что журнал и его энтузиасты тогда лишь нащупывали способ общения с читателями.Теперь они и сами видят, что давно вышли за узкие местные рамки.

Несмотря на редкую удачу - своего критика, критический отдел не замкнулся на одном имени. Здесь мы найдем, например, одну из лучших статей о прозе Владимира Максимова (И.Рубин,№ 10). Дважды напечатал журнал отрывки из книги Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша" - №№ 6 и 7. (Правда, жаль, что один из отрывков совпал с напечатанным в "Гранях" - это из книги-то почти в семьсот страниц). Белинков, несомненно, является вершиной этого неопределенного жанра,наполненного всем, чем обычно богат автор: легкостью и остротой языка, умом, пониманием искусства, политической злостью, жадностью к жизни и раздражением против соседа, пять лет назад сломавшего любимый стул. За этот жанр берутся многие, но мало кто понимает, что основа его - страсть, темперамент, и без этого ничего не выйдет. Страсть и только страсть, в избытке имевшаяся у Белинкова, соединяет этот винегрет в единый высокий жанр.

И хоть Биленков не занимает значительного места во "Времени и мы", хочется закончить о критике его цитатой:

"В мире, который окружает человека в тираническом государстве, происходит безостановочное разрушение вещей. Различна степень выносливости их, и поэтому одни вещи разрушаются раньше, другие - позже.

Когда разрывается снаряд, то прежде всего гаснет свет и звенит разбитое стекло. Диван или комод обычно спокойнее переносят потрясение.

В мире, который нас окружает, от взрывов деспотизма,невежества, грубой силы, бессмысленной тупости и осмысленного страха за власть раньше всего и легче всего разрушается искусство."

(Цитирую по книге, изданной в Мадриде в 1976 году, стр. 171-172.)

Это было бы полной правдой, если б сам Белинков не опровергал себя своим собственным примером.

ДЕЛО ВКУСА

Четырнадцать книжек по 200-250 страниц. Еще недавно на этом месте было пустое место. Теперь, Бог весть какими усилиями (ни дотаций, ни богатых вкладчиков), образовался журнал. В журнале немало ума, в нем кипит жизнь (как умеет), там нет недостатка в страстях.

Искусство? Действительно, с этим несколько хуже. Искусство - вкус - нечто, лишенное критериев - не вполне уловимое. Неужели он прав, Белинков, и искусство пало первым, впереди контратаки? Мы всегда были уверены, что именно искусство - наше главное тайное противостояние. "У них" есть всё - "у нас" зато искусство. Редчайшие обратные примеры (Катаев, Дейнека) только подтверждают закон. Казалось, стоит получить свободу, и оно забьет фонтаном.

Когда читаешь заголовки типа "Прорыв в бесконечность", делается грустно. Хороший, свободный журнал. Красивая обложка. На обложке читаем: "Среди неверия и суеты... помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе". Как это "лучше"? Разобраться - или не разобраться? Но, в конце концов, и это можно было бы проглотить, если б не второе "в" (в себе). Без него ощущалась бы хоть какая-то, что ли, усмешка. Это, конечно, ерунда, но это, простите, из той же области (искусство). Хорошо, когда на обложке фотографии авторов (поучительно сравнивать лица), но как же можно под спокойным и красивым женским лицом написать, со стрелочкой: Фаина Баазова "Прокаженные". Мелочи; конечно, это мелочи. Дело вкуса.

Ностальгия по родине... Живя в милом сердцу ледяном доме нашего отечества, меньше всего мы боялись за утерю вкуса. Боялись утерять здесь язык, не поспеть за растущей газетой. Не утеряли.

Мы уехали из дома и живем теперь в культуре. Ближний Восток. Америка. Европа. Расцвет всех возможностей лично тебя. Если желаешь, можешь на автомобиле. Можете любить и не любить, свобода чувства. Я, как и все, патриот своей нынешней Франции, но французские сосиски, поверьте, ужасны. Это мелочь, но это факт. Я патриот Франции, но не ее сосиски. О вкусах не спорят. К приезду высокого гостя из советской страны европейские правительства с готовностью стригут свои прически покороче. Дело вкуса.

Когда-нибудь мы вернем пошатнувшийся вкус в этот мир. Видимо, для этого придется все-таки нам вернуться домой. Но - куда возвращаться? Высокий урожай хлопка зреет в Узбекистане. Из Лусаки передают: в Замбии нет места для капитализма. Три дня из жизни новатора. Персональный лекальщик. Лучшая в мире скамья осужденных. Сижу Советскому Союзу!

Вы хотите вкуса от режима, который даже свою октябрьскую революцию произвел в ноябре? Мы не можем вернуться, пока это все

не изменится, хоть в какую-то сторону. В конце концов, это вопрос того же вкуса.

Но потому нам придется еще немало заниматься всем тем,в чем так мало и меры и вкуса: политикой.

И оттого, я считаю, нам придется простить журналу недостаток искусства. Из России его уже просят всё чаще. Из дома нам пишут: вслед за "Континентом" новый русский журнал "Время и мы" вновь не радует наше родное начальство. Журнал не доставляет ему международных удовольствий.

Дорогая редакция, примите это как медаль.

На сегодняшний день вышло 32 номера журнала "Время и мы".

в номере:

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы разнообразного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.

ТОЛЬКО ВО ФРАНЦИИ:

Условия подписки в редакции - 60 французских франков (4 номера в год) с доставкой.

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии: A.Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28, 8000 München 40, Germany, tél. 37 05 34

В США и Канаде: Профессор Карл Проффер, изд-во "Ардис"
Prof.Carl R.Proffer, "RTL/Ardis Publishers"
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104,
USA, tél. (313) 971 2367

В Австралии и Новой Зеландии: Михаил Ульман
Michael Ulman, P.O.Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349 84 84

В Израиле: Ирина Гробман
Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Ierusalem, Israel, tél. (02) 712 493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах

Цена номера - 20 франков

:: :: :: :: :: :: ::

Joseph FLOCH, Maître-Imprimeur à Mayenne 13-11-1978-n° 6560

эхо · echo

ПАРИЖ · PARIS